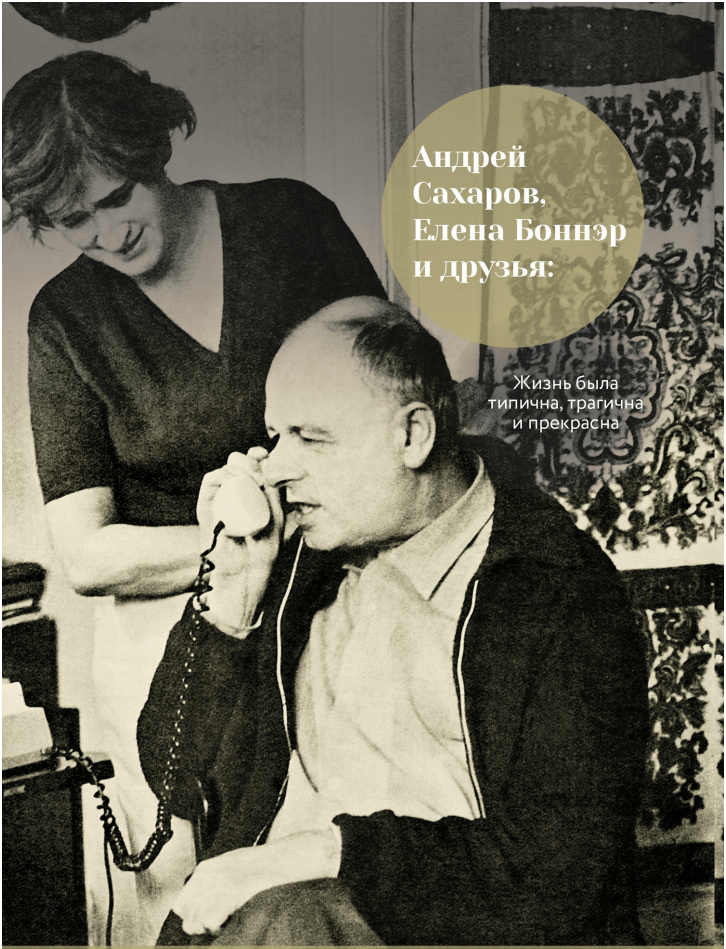

Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья:

Жизнь была типична, трагична и прекрасна

Судьба Елены Боннэр, рассказанная ею, Андреем Сахаровым и друзьями

Борис Львович Альтшулер
Леонид Литинский

Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья: жизнь была типична, трагична и прекрасна

Серия «Люди, эпоха, судьба…»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51338046
«Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья: жизнь была типична, трагична и прекрасна» / авт.-сост. Борис Альтшулер, Леонид Литинский: АСТ; Москва; 2020
ISBN 978-5-17-110852-6

Аннотация

Книга, которую читатель держит в руках, составлена в память о Елене Георгиевне Боннэр, которой принадлежит вынесенная в подзаголовок фраза «жизнь была типична, трагична и прекрасна». Большинство наших сограждан знает Елену Георгиевну как жену академика А.Д. Сахарова, как его соратницу и помощницу. Это и понятно – через слишком большие испытания пришлось им пройти за те 20 лет, что они были вместе. Но судьба Елены Георгиевны выходит за рамки жены и соратницы великого человека. Этому посвящена настоящая

книга, состоящая из трех разделов: (I) Биография, рассказанная способом монтажа ее собственных автобиографических текстов и фрагментов «Воспоминаний» А.Д. Сахарова, (II) воспоминания о Е.Г. Боннэр, (III) ряд ключевых документов и несколько статей самой Елены Георгиевны. Наконец, в этом разделе помещена составленная Татьяной Янкелевич подборка «Любимые стихи моей мамы»: литература и, особенно, стихи играли в жизни Елены Георгиевны большую роль.

Содержание

Вспоминая Елену Георгиевну Боннэр 6
Предисловие 8
Раздел I 22
Часть первая 22
Даты жизни 22
Эпизоды детства и юности Елены Боннэр, рассказанные ею самой 31
Конец ознакомительного фрагмента. 151

Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья: жизнь была типична, трагична и прекрасна

Составители: Борис Альтшулер, Леонид Литинский

Эта книга не состоялась бы без участия в ее создании детей Елены Георгиевны Боннэр – Татьяны Янкелевич и Алексея Семенова. Большой вклад в поиск и подготовку материалов внесли Илья Бурмистрович и Бэла Коваль. Александр Литой помог записать воспоминания тем, кому такая помощь требовалась. Мы воспользовались обширной коллекцией фотографий Архива Сахарова (Москва). Нас неизменно поддерживали Иван Ковалев, Александр Подрабинек, Геннадий Семенов, Алексей Смирнов и Екатерина Шиханович. Нам было приятно работать в такой компании, и мы благодарны друзьям за помощь. Надеемся, книга найдет своего читателя.

Борис Альтшулер, Леонид Литинский

Вспоминая Елену Георгиевну Боннэр

После того, как в декабре 1989 года не стало А.Д. Сахарова, жизнь Елены Георгиевны Боннэр была в значительной мере посвящена сохранению памяти о нем. По ее инициативе в марте 1990 создается существующая и поныне Общественная Комиссия по сохранению наследия академика Сахарова (поначалу название было иным). Тогда же в США образован Фонд Андрея Сахарова, все эти годы являющийся партнером Общественной Комиссии. В мае 1991 года в Москве состоялся Первый Международный Конгресс памяти Сахарова «Мир, прогресс, права человека». В 1993 году в США основан Архив Андрея Сахарова. В Москве, в 1994 году образован действующий и сегодня Архив Сахарова, а в 1996 – Музей и общественный центр «Мир, прогресс, права человека». В 2005 Елена Георгиевна сложила с себя обязанности председателя Общественной Комиссии, но до конца жизни активнейшим образом участвовала в формировании ее деятельности. В 2006 году она издала комментированные «Дневники» Сахарова.

Елена Георгиевна ратовала за то, чтобы работа Общественной Комиссии была в максимальной степени посвящена А.Д. Сахарову. Чтобы проблемы гражданского общества

нового времени в проектах Комиссии показывались через призму биографии Сахарова, его отношения к правам человека и обязанностям гражданина. Наверное, она была права, хотя реализовать такой подход очень трудно.

Настоящая книга была задумана в 2015 году для того, чтобы собрать непосредственные свидетельства о Елене Георгиевне. Постепенно план книги усложнился, в ней появились и другие разделы. Мы надеемся, что книга послужит сохранению памяти о ярком человеке и замечательном товарище, каким была Елена Георгиевна Боннэр.

24 августа 2017

Председатель Общественной Комиссии Вячеслав Бахмин

Президент Фонда Андрея Сахарова (США) Алексей Семенов

Предисловие

«Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца, кто думает, что можно вернуться обратно, у того нет ума», – сказала Елена Боннэр в одном из интервью начала 1990-х. Сейчас уже невозможно выяснить, она ли или кто-то другой автор этой летучей фразы, давно ставшей фольклором и, согласно поисковику, не раз повторенной к месту самыми разными людьми, включая лидеров России, Украины, Казахстана. Елена Георгиевна Боннэр (1923–2011) без сомнения дитя СССР в его двух, говоря обобщенно, самых характерных ипостасях: замечательные идеалы дружбы, взаимопомощи, равенства между людьми (никакого расизма, национализма, никаких простых и знатных, богатых и бедных) – это с одной стороны. А с другой стороны чудовищное несоответствие этих идеалов с реальностью, в которой жили, умирали и умерщвлялись граждане первой в мире страны победившего социализма. И Люся Боннэр еще подростком оказалась в эпицентре этого непостижимого несоответствия, включая самые страшные его проявления.

Этот трагический разлом – удел многих честных представителей тех советских поколений. Однако героиня этой книги – дело особое, фигура, по-своему, уникальная, и до сих пор остающаяся во многом загадочной. Действительно, кто

еще мог бы превратить аудиенцию (ноябрь 1975 г.)[1] у Папы Римского Иоанна Павла II в чтение великой русской поэзии. Папа, которого в детстве приобщил к стихам Некрасова и Надсона живший у них в доме русский студент, вспоминал первую строчку, а Е.Г., как она рассказывала, читала стихотворение до конца: «От ликующих, праздноболтающих, / Обагряющих руки в крови / Уведи меня в стан погибающих / За великое дело любви» (Некрасов, «Рыцарь на час»). И продолжалось это более часа к огромному удовольствию высоких участников встречи. Или примеры иного рода: выступления Елены Боннэр в Осло 11–12 декабря 1975 г. – в рамках церемонии получения ею Нобелевской Премии Мира Андрея Сахарова[2]. Только очень незаурядный человек мог найти такие точные и масштабные слова. «Она ведь всё это сама придумала!», – сказал мне Андрей Дмитриевич с восхищением, когда мы встретились с ним на семинаре в ФИАНе через несколько дней после его возвращения из Вильнюса[3].

Это к вопросу об уникальности нашей героини. А теперь о

---

[1] Эту встречу, как и две другие в 1985 и 1989 годах (последняя совместно с А.Д. Сахаровым), организовала близкий друг Иоанна Павла II Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти (1924–2000), главный редактор газеты «Русская мысль» в 1979–2000 гг. – Сост.

[2] Сам А.Д. Сахаров, вместе с друзьями-правозащитниками, был в эти дни в Вильнюсе перед зданием суда, где судили Сергея Ковалева. – Сост.

[3] «Без меня она никогда не меняет ни одного слова в моих документах и рукописях (единственное исключение – Нобелевская лекция, которая оказалась недоработанной…)», – А.Д. Сахаров, «Воспоминания» [3] стр. 484. – Сост.

ее до сих пор не разрешенной загадке. Впрочем, это загадка всего предперестроечного завершающего периода существования СССР. Просто в судьбе Е.Г. Боннэр эти странности проявились очень наглядно. И правда, как объяснить, что после высылки Сахарова в Горький 22 января 1980 г. Елене Георгиевне разрешили не только сопровождать его, но вернуться, дать пресс-конференцию иностранным журналистам и, главное, потом 4 года и 3 месяца, до момента задержания в аэропорту Горького 2 мая 1984 г., совершить множество челночных поездок Горький-Москва-Горький… Благодаря чему, ссыльный Сахаров имел возможность и продолжал выступать по острым общественным вопросам, включая вопросы ядерного разоружения. Всё это было сопряжено с немалыми трудностями и тем не менее продолжалось, несмотря на весьма чувствительные «крысиные» (вспомним гамлетовское: «Крысы, крысы!») укусы и издевательства вроде постоянного шурования в квартире в отсутствие хозяев – с пропажей личных вещей, воровства рукописей, порчи автомобиля, пресечения контактов с людьми, травли и т. п.[4] И как понять, что человек, которому высшие руководители СССР дают характеристики: «Зверюга в юбке, ставленница империализма», «Злобы у нее за последние годы прибавилось», «Вот что такое сионизм» (М.Зимянин, Г.Алиев, М.Горбачев

[4] «Похороненным заживо» Сахаров стал после того, как Елену Георгиевну в мае 1984 г. заперли в Горьком, что, наряду с понятным желанием спасти свою жену, явилось причиной двух его мучительных голодовок в 1984 и 1985 гг. – Сост.

– из стенограммы заседания Политбюро ЦК КПСС 29 августа 1985 г.[5]) получает эксклюзивное разрешение на выезд из ссылки в Горьком в США для проведения операции на сердце? Известно, что это решение «продавил» через Политбюро Горбачев, избранный Генеральным секретарем ЦК КПСС в апреле того же года. Он же полтора года спустя, в конце декабря 1986 года, вернул Сахарова и Боннэр в Москву. Но остается вопрос: почему такое внимание к личности Елены Георгиевны на высшем политическом уровне СССР?

Подобных вопросов, и не только про Елену Боннэр, немало. Почему Александра Солженицына за публикацию за рубежом его великого «ГУЛАГа» не посадили, а в феврале 1974 г. выслали из страны? Известно, что эта дилемма также обсуждалась на заседании Политбюро. Да, всё это было – лагеря и ужасы карательной психиатрии, а в ряде случаев и убийства оппозиционеров. Но почему при этом многим диссидентам предлагали альтернативу: либо лагерь, либо эмиграция по приглашению из Израиля? «Андрей Дмитриевич, почему Вас «случайно» не задавят на улице как Михоэлса? Мир пошумит недельку, а потом забудет. Наверняка такие предложения поступают. Кто там в Кремле заступается?», – спросил я Сахарова во время первой антисахаровской кампании в августе-сентябре 1973 г. (эта кампания, начавшаяся известным письмом 40 академиков, была ответом власти на интервью Сахарова иностранным журналистам 21 и 23

[5] http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=2124

августа 1973 г., в которых он заявил, что «экономическая разрядка» при отсутствии демократических реформ в СССР представляет угрозу международной безопасности и «может привести к заражению мира тем злом, которое гложет Советский Союз»[6]). На мой вопрос про «заступников» в Кремле Сахаров ответил примерно так: «мы не должны об этом думать; наше дело настаивать на открытости, демократизации, соблюдении прав человека, и результаты, возможно, последуют». Андрей Дмитриевич понимал, что у загнивающей системы, каковой был СССР периода застоя, есть только два пути – гибель или обновление. А значит и в высшем руководстве СССР могли быть люди, это понимающие, т. е. «реформаторы». Но были и «вечно вчерашние», те, кто ничего не понимал и не желал «поступаться принципами»[7]. «Подковерные» противоречия, противоборство, «перетягивание каната» на высшем уровне в Кремле и приводило, как можно предположить, к указанным выше и ко многим другим «странностям». К сожалению, консерваторы – те самые, кто распространял во времена СССР и даже сегодня продолжают распространять грязь и клевету в адрес А.Д. Сахарова и Е.Г. Боннэр[8], оказались достаточно сильны, чтобы серьезно

---

[6] «Андрей Сахаров. Pro et contra» ([8], стр. 88–99). – Сост.

[7] Ср. показательную статью начала перестройки: Нина Андреева «Не могу поступаться принципами» («Советская Россия», 13 марта 1988 г.). – Сост.

[8] См. стр. 120–128. В 2003 г. в издательстве «ЭКСМО – Алгоритм» была переиздана вышедшая в начале 1983 г. книга Н.Н. Яковлева «ЦРУ против СССР», в которой «достается» не только Сахарову и Боннэр, но многим другим. Вот,

затормозить реформы, что и сделало гибель СССР неизбежной. А «последний гвоздь» они вбили путчем августа 1991 года.

В связи с явной неординарностью, значимостью и силой личности Елены Боннэр представляется уместным здесь же, не откладывая, дать ответ на главную «грязь и клевету» о «подкаблучнике» Сахарове, ставшим «матерым антисоветчиком» под влиянием этой «зверюги в юбке». Я познакомился с Сахаровым в начале 1968 г., довелось обсуждать с ним разные вопросы, не только физику, был я в марте 1969 г. на похоронах его первой жены Клавдии Алексеевны Вихиревой (1919–1969), знаю, как тяжело перенес эту утрату Андрей Дмитриевич. Сахаров познакомился с Еленой Боннэр через 1,5 года, а поженились они через три года после той утраты. Так вот, в «диссидентских» демонстрациях в День Конституции 5 декабря на Пушкинской площади Сахаров участ-

---

например, что пишет автор об Александре Исаевиче Солженицыне: «*Среди тысяч и тысяч авторов на службе ЦРУ вместе с изменником Родины американо-английским шпионом Пеньковским стоит рядом человек тех же моральных качеств – Солженицын. В 1957–1958 годах по Москве шнырял малоприметный человек, изъеденный злокачественной похотью прославиться. Он нащупывал, по собственным словам, контакты с теми, кто мог бы переправить на Запад и опубликовать пасквили на родную страну. Товар был самого скверного качества*» (стр. 207). Хвалебное предисловие к этому переизданию 2003 года написал Ф.Д. Бобков, начальник 5-го управления КГБ СССР (1969–1983 гг.), заместитель Председателя КГБ СССР (1983–1991 гг.), руководитель Аналитического управления холдинга АО Группа «Мост», принадлежавшего В. Гусинскому (1992–2001). – Сост.

вует с 1966 года[9], а его знаменитые «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» 1968 года (изданные к 1970 году на Западе общим тиражом 18 миллионов экз.) печатала для Сахарова машинистка ядерного центра «Арзамас-16» (г. Саров), а среди первых их слушателей была Клава Вихирева. И «безумное» (с точки зрения «ядерного» окружения и руководства А.Д. Сахарова) решение запустить рукопись «Размышлений» в самиздат под своим реальным именем Сахаров принял задолго до знакомства с Еленой Боннэр. «Почему Вы решили обратиться за рубеж?», – спросил мой отец Сахарова, после того, как в начале июля 1968 г. «Размышления» появились в западной прессе, что вызвало шок в Кремле, в Средмаше[10] и, конечно, у них в ядерном центре в Сарове. «Я обратился к тем, кто готов меня слушать», ответил Андрей Дмитриевич[11]. И ответ этот был математически точным, потому что за год до того основные идеи «Размышлений» о необходимости договариваться с США о ядерном разоружении, о том, что продолжение конфронтации грозит гибелью человечества, Сахаров изложил в письме на имя главного партийного идеолога СССР М.А. Суслова. И получил, как обычно, ничего не

---

[9] Инициатором таких демонстраций под девизом «Соблюдайте вашу Конституцию» и организатором первой из них в 1965 году был известный математик Александр Есенин-Вольпин (1924–2016)., кстати, – сын Сергея Есенина. – Сост.

[10] Министерство среднего машиностроения СССР – головной орган ядерного проекта Советского Союза.

[11] Л.В. Альтшулер, «Рядом с Сахаровым» ([9] стр. 113–121). – Сост.

значащую отписку, после чего и принял решение обратиться «к тем, кто готов его слушать».

И вряд ли под влиянием Люси Боннэр Сахаров произнес свой «неуместно-пацифистский» тост на банкете в честь успешного испытания сверхбомбы 22 ноября 1955 г. В ответ на этот тост руководитель испытаний маршал Неделин[12] рассказал скабрезную шутку, смысл которой: вы – ученые создавайте эти изделия, а как их применять мы без вас разберемся. Как они умеют «разбираться» наглядно показала трагедия 24 октября 1960 года, когда по вине М.И. Неделина, бывшего тогда Главкомом ракетных войск стратегического назначения, по причине нарушения им элементарных норм техники безопасности заживо сгорели он сам и более ста участников испытаний[13]. Сахаров в течение 20 лет находился внутри этой системы, внутри треугольника: военно-промышленный комплекс – высший генералитет СССР – высшее партийное руководство страны, и не было у него никаких иллюзий по поводу понимания правил техники безопасности людьми, палец которых – на ядерной кнопке. И задолго до знакомства с Еленой Боннэр он сознавал, что спасти человечество от термоядерного конца могут только реальные внутренние реформы в СССР. Конечно, и Сахаров,

---

[12] Неделин Митрофан Иванович (1902–1960), с марта 1955 г. заместитель министра обороны СССР, и с декабря 1959 г. – одновременно главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения. – Сост.

[13] См. подробнее в Приложении 4 (извлечение из «Воспоминаний» А.Д. Сахарова). – Сост.

и Курчатов, и Харитон, и другие пионеры советского ядерного проекта, включая моего отца, создавали страшное оружие, движимые высоким патриотическим чувством, сознанием крайней необходимости восстановить стратегическое ядерное равновесие с США. Однако, представляется, что Сахаров был единственным в СССР, кто не только сознавал всё возрастающую неустойчивость «равновесия страха», угрожающую самому существованию человечества, но готов был практически действовать, чтобы предотвратить катастрофу.

И ведь что удивительно: эта чудовищная опасность действительно была устранена в конце 1980-х годов, когда в результате российско-американских договоренностей о сокращении ядерных вооружений человечество сделало шаг назад от термоядерной пропасти. А эти спасительные договоренности стали возможны только благодаря изменению мирового общественного климата под влиянием правозащитной деятельности Андрея Сахарова, Елены Боннэр, других советских правозащитников, их борьбы за каждого конкретного человека, ставшего жертвой тоталитарной системы.

Нет, Сахаров заведомо не был «подкаблучником». И если этот на вид не очень уверенный в себе, немного заикающийся, постоянно размышляющий и практически никогда не вступающий в спор человек что-то для себя решал, то это был абсолютный кремень. Елена Георгиевна наглядно это описала в эссе «Четыре даты»[14] – в связи с ее и Софьи Ва-

---

[14] См. Приложение 6. – Сост.

сильевны Каллистратовой[15] безуспешными попытками отговорить его от заявления о возможной причастности КГБ к взрывам в московском метро в январе 1977 года.

Андрея Сахарова и Елену Боннэр многое объединяло. Это и готовность откликнуться на просьбу о помощи, и общее понимание того, что называется емким словом «справедливость», и то, что в основе этого понимания были нравственные установки семьи (интересно, что у каждого из них была любимая бабушка – главный человек детства), это и любовь к поэзии (но если Елена Георгиевна – энциклопедия и русской классической, и советской поэзии, то Андрей Дмитриевич до знакомства с ней обитал, главным образом, в XIX веке – там, где Пушкин). Однако, если мы от вопросов культуры, гуманизма и помощи конкретным людям перейдем к вопросам военно-политическим, то тут Сахаров был, пожалуй, единственным экспертом среди правозащитников-диссидентов 1960–1980 годов, причем таким экспертом, мнения которого внимательно изучались и учитывались в высших правительственных кругах СССР и США.

Необходимо отметить еще одно обстоятельство – общее для этих двух уникальных людей: волею судьбы и Андрей Дмитриевич, и Елена Георгиевна были лично знакомы с теми или иными высшими руководителями СССР. Для А.Д. Сахарова, благодаря его особой роли в советском ядерном

---

[15] С.В. Каллистратова (1907–1989), адвокат, участник правозащитного движения в СССР, член Московской Хельсинкской группы. – Сост.

проекте, – это знакомство с Л.П. Берия, Н.С. Хрущевым, Л.И. Брежневым, не говоря уже о многих руководителях более низкого ранга. Для Е.Г. Боннэр – это в первую очередь близкая дружба ее отца Г.С. Алиханова с А.И. Микояном[16], с которым они вместе боролись за установление советской власти в Закавказье и который более 30 лет был членом Политбюро ЦК КПСС. После того, как родители Е.Г. Боннэр были арестованы, А.И. Микоян в 1939 году предлагал усыновить ее и младшего брата. По его инициативе мать Елены Георгиевны Руфь Григорьевна Боннэр оказалась в числе первых реабилитированных – еще в 1954 г. и получила квартиру в Москве. Он же предложил Е.Г. Боннэр войти в состав советской врачебной миссии в Ираке в 1959–1960 годах (см. об этом в Приложении 7), отсюда и необычные для простого советского человека разрешения на зарубежные поездки к друзьям матери и отца коминтерновцам в Польшу (1964 г.), к родственникам-коммунистам во Францию (1968 г.). Брак с А.Д. Сахаровым в январе 1972 г. поместил Е.Г. Боннэр в фокус внимания высшего политического руководства СССР, что, возможно, было некоторой защитой от прямой физической расправы, но одновременно сделало Е.Г. Боннэр и ее детей заложниками общественной деятельности Сахарова, в

---

[16] Микоян Анастас Иванович (1985–1978) – член Политбюро ЦК КПСС (1935–1966), Первый заместитель Главы Правительства СССР (1955–1964), Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1964–1965). Выступал против ввода советских войск в Венгрию в 1956 г. и против расстрела рабочих Новочеркасска в 1962 г. – Сост.

том числе стало невозможным ее лечение в СССР («*Мы не знаем, что с Вами хотят сделать. Но Вам необходимо срочно выписаться, как сумеете, под каким угодно предлогом!* », см. стр. 98).

Прежде, чем перейти к последовательному рассказу о жизненном пути нашей героини – одна незабываемая картинка, где-то конца 1970-х годов. Сидим мы вечером втроем на знаменитой кухне квартиры 68 на ул. Чкалова дом 48-Б, пьем чай. Разговор, естественно, о вещах тяжелых: арестованы создатели Московской хельсинкской группы (МХГ)[17] Юрий Орлов, Александр Гинзбург, Анатолий Щаранский, Мальва Ланда, аресты продолжаются, никаких надежд на будущее, возможность разумного реформирования СССР представляется иллюзорной. Я в своем духе пытаюсь сказать что-то обнадеживающее[18]. Андрей Дмитриевич, в основном, молчал, но, когда в разговоре возникло слово «невозможно», он улыбнулся и произнес: «и невозможное возможно». А Елена Георгиевна тут же наизусть прочитала это знаменитое стихотворение Блока «Россия» с начала до конца:

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные

---

[17] См. Предметный указатель – Сост.

[18] «Боря, не говори ничего оптимистического на ночь», – эту замечательную фразу Е.Г. произнесла в один из похожих вечеров за чаем в кв. 68 уже после их возвращения из горьковской ссылки. Б.А.

В расхлябанные колеи…

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу…
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты…

Ну что ж? Одно заботой боле —
Одной слезой река шумней
А ты все та же – лес, да поле,
Да плат узорный до бровей…

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

Борис Альтшулер
Январь 2017 г.

Раздел I
Даты, эпизоды жизни Елены Георгиевны Боннэр

Часть первая
1923–1969: «До правозащиты»

Даты жизни. Эпизоды детства и юности Елены Боннэр, рассказанные ею самой.

Даты жизни

1923–1924. Елена Георгиевна Боннэр родилась 15 февраля 1923 г. в г. Мерве Туркестанской автономной ССР в доме родителей отца – Левона Саркисовича Кочаряна (Кочарова).

Ближайшие родственники Е.Г. Боннэр:

Отчим (с 1925 г.) – Геворк Саркисович Алиханов (1897–1938). О нем подробнее: до 1917 года участник революционного движения в Закавказье вместе со своим близким другом и соратником А.И. Микояном, в 1920–1921 годах – первый секретарь ЦК КП(б) Армении, в 1920-е годы на ответственных партийных постах в районных комитетах РКП(б):

Бауманского в Москве и ряде районов Ленинграда. В 1931–1937 годах работал в Исполкоме Коминтерна. Был близок с С.М. Кировым[19]. Арестован 27 мая 1937 г., расстрелян 13 февраля 1938 г., посмертно реабилитирован. О бабушке Шушаник, матери Г.С. Алиханова, его сестре Айкануш, ее муже Геворке Габриеловиче Казаряне и их дочери Рузанне – см. на стр. 18–20 отрывок из книги Е.Г. Боннэр «Дочки-матери» ([1] стр. 24–27).

Мама – Руфь Григорьевна Боннэр (1900–1987), партийный работник. Арестована 10 декабря 1937 г., 22 марта 1938 г. приговорена к 8 годам заключения в АЛЖИРе (Акмолинский лагерь жен изменников родины). По ходатайству А.И. Микояна была среди первых реабилитированных еще в 1954 г. и получила на ул. Чкалова (ныне Земляной Вал) на 7 этаже дома 48-Б двухкомнатную квартиру № 68, ставшую потом знаменитой[20].

Брат Е.Г. Боннэр – Игорь Георгиевич Алиханов (1927–1976).

Первый брак (1949–1965 гг.), муж Иван Васильевич Семенов (1925–1993), врач, однокурсник по 1-му Медицинскому институту г. Ленинграда; их дети:

Татьяна Ивановна Янкелевич (Семенова) (род. 1950),

---

[19] Киров Сергей Миронович (1886–1934) – советский государственный и партийный деятель. Убийство Кирова 1 декабря 1934 г. послужило началом периода репрессий, известного как «Большой террор». – Сост.

[20] См. Е.Г. Боннэр, «История квартиры 68», – Сост.

Алексей Иванович Семенов (род. 1956).

Второй брак (1972–1989 гг.), муж Академик Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989).

Другие значимые родственники:

Предки Е.Г. Боннэр с материнской стороны тесно связаны с г. Иркутском.

Дедушка – отец Р.Г. Боннэр: Григорий Рафаилович Боннэр (? – 1905)[21].

Бабушка – мать Р.Г. Боннэр: Татьяна Матвеевна Рубинштейн, в замужестве Боннэр (1879–1942); Батаня – так звали ее внуки – занимает «*главное место*» в детские годы Люси Боннэр. Брат Т.М. Боннэр, Моисей Матвеевич Рубинштейн, «дядя Мося», – автор классического труда «Очерк психологической педагогики» (Москва, 1913), основатель в 1919–1920 гг. Иркутского классического университета.

Дядя Е.Г. Боннэр (старший брат Р.Г. Боннэр): Матвей Григорьевич Боннэр (1898–1938) – арестован в октябре 1937 г., так как «приютил детей изменника родины», расстрелян. Его жена Калерия Степановна Скурлатова (Каля)

---

[21] «…В одну из экспедиций 1905 года он взял очень крупные кредиты и закупил большую, чем обычно, партию скота. При перегоне гурты попали в буран и основная часть стада погибла. Через несколько дней после возвращения домой Дед застрелился. Случайно моя мама видела это. Она играла на открытой галерее, идущей вдоль фасада дома, и как раз в момент самоубийства заглянула в окно комнаты отца. Мама всегда говорила, что это одно из самых страшных воспоминаний в ее жизни.», – Елена Боннэр, «Дочки-матери» [1] стр. 19–20. – Сост.

(1907–2002), в ссылке с 1937 по 1957 гг. Их дочь Наталья Матвеевна Мищенко-Боннэр (род. 1935) – двоюродная сестра Е.Г. Боннэр.

Тетя Е.Г. Боннэр (младшая сестра Р.Г. Боннэр) – Анна Григорьевна Мордухович-Боннер (sic! – фамилия через «е») (1902–1975). Ее муж Лев Матвеевич Мордухович (1902–1989). Их дочь Зоря Львовна Мордухович-Боннер (1926–2018) – двоюродная сестра Е.Г. Боннэр.

1924–1926. Живет в Чите с родителями, бабушкой (с материнской стороны) и многочисленными родственниками в доме бабушкиной сестры Софьи и ее мужа – Моисея Леонтьевича Клеймана (эмигрировали во Францию в конце 1920-х, отсюда «французская линия» родственников Е.Г. Боннэр).

1926–1927. Отъезд родителей из Читы в Ленинград; переезд к ним с БаТаней. Гостиница «Астория», дом на ул. Красных Зорь, «Гранд-Отель» – в больших многолюдных квартирах в домах для партийных и советских работников, «*где беспартийными были только БаТаня, няня и дети*», проходит раннее детство Е.Г. Боннэр. Зимой ходит в детский сад, летом – на даче. 27 августа 1927 г. родился брат Игорь (Егорка).

1928–1930. БаТаня учит грамоте. Увлечение «*рифмованным*» чтением, поступление в школу в Ленинграде.

1931. Переезд к родителям в Москву, в гостиницу «Люкс» на Тверской ул.: дом работников Коминтерна. Родители в эти годы (1931–1937): отец – член Исполкома Коминтерна,

заведующий отделом кадров Коминтерна; мать – работает в Институте Маркса-Энгельса-Ленина, затем в Московском комитете партии.

Поступление во 2-й класс московской школы, знакомство с Севой Багрицким[22] (дружба и любовь до его гибели в 1942 году) и его родителями: поэтом Эдуардом Багрицким (1995–1934) и Лидией Густавовной Суок (1895–1969), ставшей другом Е.Г. Боннэр на всю жизнь.

1932–1937. Почти год в больницах (1934). Потрясение от убийства С.М. Кирова (1934). Аресты ближайших друзей родителей. «Пушкинский год» (1936). Поездка в Артек. Перемены в доме. «Ромео и Джульетта». Окончание семилетки. Арест Г.С. Алиханова. Арест Л.Г. Багрицкой. Переезд с братом Игорем к БаТане и дяде Матвею в Ленинград. Арест дяди и высылка его жены. Арест матери. Допросы в Большом Доме.

1938–1941. Учеба в ленинградской школе и работа уборщицей домоуправления. Окончание школы. Поступление в Ленинградский педагогический институт им. Герцена на вечернее отделение. Работа.

1941. Курсы РОКК (Российское общество красного креста). Добровольный уход в армию. На фронте санинструктор и замполитрука в санитарной летучке. Первое ранение и тя-

---

[22] Багрицкий Всеволод Эдуардович (1922–1942), поэт, рано потерял отца (поэт Эдуард Багрицкий ск. в 1934 г.) и мать (Л.Г. Суок-Багрицкая была арестована в 1937 г.) – см. [12] и, напр., https://www.stihi.ru/2004/02/21-1138 – Сост.

желая контузия (1941 г.). Лечение в госпиталях.

1942. Гибель на фронте Севы Багрицкого. Смерть БаТани в блокадном Ленинграде.

1942–1945. Служба на военно-санитарном поезде (ВСП) № 122. Второе ранение. Присвоение звания лейтенанта мед. службы. Направление в Беломорский военный округ. Демобилизация с инвалидностью второй группы. Поездка в Казахстан на свидание с матерью.

1946–1947. Возвращение матери из заключения. Угроза полной слепоты в результате контузии. Двухлетняя борьба за сохранение зрения.

1947–1953. Поступление в 1-й Ленинградский Медицинский институт имени акад. И.П. Павлова. Учеба в институте. Брак с однокурсником Иваном Васильевичем Семеновым. Рождение дочери Татьяны (24 марта 1950 г.).

1952–1957. Работа в детской больнице им. Филатова в должности медсестры. Затем: врач-ординатор Акушерской клиники, Заместитель директора по учебной части и преподаватель курса «детские болезни» Медицинского училища № 16 при 1-м Ленинградском Мединституте им. акад. И.П. Павлова. Исключение из института. Восстановление и окончание Медицинского института по специальности микропедиатрия.

«В январе 1953 года на страну обрушивается дело «врачей-убийц». Повсюду проводятся собрания, на которых трудящиеся требуют смертные казни для арестованных. Среди

них – профессор Люсиного института Василий Васильевич Закусов. Люсе, профсоюзной и комсомольской активистке, поручили выступить на общем собрании. Вместо ожидавшихся от нее слов она (может неожиданно для самой себя) сказала: «Ребята! Вы что, с ума посходили – смертную казнь В.В.?». Ее исключили из института. Но вскоре Сталин умер. Приказ об исключении был аннулирован». (А.Д. Сахаров, «Воспоминания», [3] стр. 493–494).

1954. Реабилитация матери, восстановление в партии, получение ею квартиры в Москве; посмертная реабилитация отца.

1956. Рождение сына Алеши (27 июля 1956 г.).

1958–1960. Преподаватель по педиатрии Ленинградского медицинского училища № 14.

1959–1960. Командировка от Минздрава СССР в Ирак. Врач – руководитель группы медсестер в Курдистане в период кампании ВОЗ по борьбе с оспой. Врач родильного отделения детского госпиталя в Багдаде.

«Анастас Иванович Микоян, который был близким другом моего папы, погибшего в 37-м, включил меня в группу врачей, отправлявшихся из СССР в Ирак. Тогда, в начале 60-х, была объявлена всемирная кампания по борьбе с оспой. Зарплату нам платила Всемирная организация здравоохранения… Кампания была рассчитана на год, но фактически мы все сделали быстрее. Я работала в Иракском Курдистане – в Сулеймании и вокруг нее… Я была руководи-

телем группы медсестер и студентов Багдадского медицинского колледжа. Но у нас была и военная группа. Так что получалась почти военная операция. Мы входили в селение и всех, кто в нем находился, в обязательном порядке прививали и выдавали каждому сертификат… Таким образом, наша бригада «обработала» до пятисот тысяч человек… Потом, поскольку мой контракт продолжался, я стала работать в Центральном детском госпитале в Багдаде, в родильном отделении.» («Дети, которых я «рожала» в Багдаде, идут теперь под пули», Известия, 29.01.2003)[23]

1961–1962. Врач-педиатр в Институте акушерства и гинекологии АМН СССР. Участковый врач поликлиники 1-го Ленинградского Мединститута им. Павлова. Увольнение с работы по семейным обстоятельствам – из-за болезни сына Алеши.

1963–1964. Совместно с Лидией Багрицкой составление и подготовка к печати книги «Всеволод Багрицкий. Дневники. Письма. Стихи» (М.: Советский писатель, 1964).

1964–1965. В связи с тяжелой болезнью сына переезд с детьми в Москву к матери. Вступление в КПСС. Развод с И.В. Семеновым. Первая глазная операция.

1964–1972. Преподаватель терапии на вечернем отделении и заведующая практикой Московского Медицинского училища № 2 им. Клары Цеткин.

«*Ей нравилось иметь дело с молодежью. Скоро Люся ор-*

---

[23] Подробнее о поездке в Ирак см. Приложение 7. – Сост.

ганизовала в медучилище группу самодеятельности, приобщая девушек из подмосковных поселков, часто из самых неблагополучных семей, к поэзии и музыке». (А.Д. Сахаров, «Воспоминания», [3] стр. 495).

Командировка в Армению (в 1966 г. – с целью написания очерка о своем отце… Работа несколько месяцев в архивах, в том числе в архивах ЧК). Поездка в Польшу (в 1964 г. – по приглашению друзей отца и матери – соседей по коминтерновскому «Люксу»).

«С 1938 г. – член ВЛКСМ, все годы службы на ВСП – комсорг, в институте – профорг курса. Ни в армии, ни в последующие годы не считала для себя (внутренне) возможным вступление в партию, пока мои родители числились изменниками родины или, как тогда чаще говорили, «врагами народа». После XX и особенно после XXII съезда решила вступить в КПСС и с 1964 г. кандидат, а с 1965 г. член КПСС… Работу по специальности часто сочетала с литературой – печаталась в журналах «Нева», «Юность», писала для Всесоюзного радио, печаталась в «Литгазете», в газете «Медработник», участвовала в сборнике «Актеры, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны», была одним из составителей книги Всеволода Багрицкого «Дневники, письма, стихи», сотрудничала как внештатный литконсультант в литконсультации СП, одно время была редактором в ленинградском отделении Медгиза.» («Постскриптум. Книга о горьковской ссылке», [2] стр. 56)

1968, июль-август. В гостях у французских родственников.

«Кончался август 1968 года. Я гостила во Франции у маминой сестры. Мне все было ни к чему – Париж, бульвары, музеи. Даже Ника Самофракийская! Я буквально погибала от боли, стыда и вины. Я думала, что так же, как я, мучается моя страна, и мне нужно быть дома. А у меня был обратный билет только на 15 сентября. И каждый день надо было знакомиться с новой порцией родни. Пришла жена троюродного брата с десятилетним сыном. Его спросили: «Почему ты не здороваешься с кузиной?». И он, глядя мне в глаза, сказал: «Я не подаю руки русскому офицеру». Что уж там ему наговорили про мое офицерство. Но я и без него знала, что наши танки в Праге – мои. И мне стыдно. И вина – моя.»[24] («Русская мысль», 4-10.05.95, с.17).

1970. Признана инвалидом второй группы Великой отечественной войны пожизненно.

1972. Выход на пенсию.

Эпизоды детства и юности Елены Боннэр, рассказанные ею самой Из книги «Дочки – матери» [1]

---

[24] О демонстрации на Красной Площади с протестом против введения советских войск в Чехословакию – см. Предметный указатель. – Сост.

Родилась ты, и, наверно, где-то
Ярким светом вспыхнула звезда…
…Ты не знала, будет иль не будет
У тебя счастливая судьба…

Всеволод Багрицкий (1922–1942)

Родилась я 15 февраля 1923 года в старом городе Мерве, в доме бабушки и дедушки на берегу реки Мургаб. Была весна, и в их саду, уступом спускавшемся к реке, розовым цветом отражались в воде персиковые и абрикосовые деревья. В том году было очень пышное цветение, и бабушка Герцелия Андреевна сказала, что это счастливая примета. А дедушка послал в далекую Читу другой бабушке – БаТане – телеграмму. «Родилась девочка тчк такая красавица тчк». Все миновалось, а телеграмма – желтый, рассыпающийся от времени бланк – сохранилась! Теперь город, где я родилась, называется Мары, Туркмения…

А семью своего папы (отчима) Геворка Саркисовича Алиханова я почти не знала. И его родственники не знали, что я не родная его дочь. Он просил маму никогда им этого не говорить…

Конец ноября 1988 г. Телефонный звонок. Длинный. Междугородный. Ереван, ничего странного. В эти дни я говорила с Ереваном утром, днем, ночью. В Кировабаде женщины и дети сидели запертые в церкви. У меня на столе лежала телеграмма священника – крик о помощи. Потоки беженцев. Теперь уже в две стороны – из Азербайджана в раз-

рушенную Армению и по всему Союзу, из Армении в Азербайджан. И жертвы. Теперь тоже с двух сторон. Девять месяцев не было случаев насилия со стороны армян, даже после ужаса Сумгаита. Теперь не выдержали. Я звонила в США, во Францию, кому-то здесь, в Москве. Готова была в прямом смысле биться головой об стенку от бессилия что-то сделать, чтобы по справедливости.

Звонит женщина. И говорит, что она моя сестра. Двоюродная. В первый момент я ничего не понимаю. Звонок кажется ошибкой. Это не мне. Мне!.. Журналист Зорий Балаян опубликовал статью об академике Сахарове и там сказано, что я дочь первого секретаря ЦК Армении Геворка Алиханова. Она прочла и пошла к Балаяну. Его не было в городе. Пошла к Сильве Капутикян[25]. Удивительно – сразу вышла на мою единственную армянскую подружку. Сильва дала мой телефон.

Ее зовут Рузана. Она дочь папиной сестры, в семье которой он вырос. Той, в которой всю жизнь после смерти мужа – папиного отца – прожила папина мама. И тут как молния. Вспомнила – тетя Айкануш. Она же приезжала к нам в Москву. У нее были два сына и дочь – девочка постарше меня. Она показывала их фотографии. И ее мужа я помню. Его звали как папу, и папа называл его дядя Геворк. Он был у нас несколько раз.

---

[25] Капутикян Сильва Барунаковна (1919–2006), армянская поэтесса, писатель, публицист.

После разговора с Рузаной было двойственное ощущение – радость, но и боязнь, что что-то, уже прочно выстроившееся в памяти, привычное, может разрушиться. Потом мы встретились. 1988-й. Декабрь. Двадцать пятое. 17 дней после землетрясения. Мы уже были в Баку, Степанакерте, Ереване. Видели беженцев – армян и азербайджанцев. Встречались с разным начальством, академиками, писателями. И мы только два часа назад прилетели из зоны бедствия.

Мы ходили по серой твердо-сросшейся земле, по которой стихия разметала дома, крыши, бетонные плиты, кирпичи. И детские курточки всех цветов. И ранцы – красные, синие, желтые. Ветер шевелил страницы букварей и тетрадок, трепал на разорванной веревке когда-то выстиранное белье, чудом держащееся на ней. И бродили как призраки из бывшей жизни люди с черными немигающими глазами, чернотой на запавших щеках. Это был мир – «после». Начался снегопад. Казалось, снег заметет не только эту землю, но и этих людей, весь народ. Не армян только, но и азербайджанцев, но и нас, но и всех – близко, далеко, везде. Всю землю.

Вертолет задрожал как человек, которому холодно, страшно. Но надо… И медленно пошел вверх. Снежинки под ним, живущие каждая сама по себе, стали превращаться в сплошную пелену, сквозь которую куда-то пробивался наш одинокий вертолет. Напротив меня маленький мальчик, неподвижный, как изваяние, круглыми глазами смотрел на протянутую к нему раскрытую ладонь одного из наших спут-

ников. На ней лежало красное яблоко. И над ним чей-то голос: «Арменак, возьми». А я слышала: «Армения, возьми». Армения.

Когда мы вошли в гостиничный номер, меня знобило. Мелко-мелко. Я влезла под горячий душ. И сразу: «Господи, там нет воды». Я натянула теплые носки. И снова: «Там все вещи и еду, бесчисленные ящики – все растаскивают сильные или те, кто поближе к месту, куда их складывают вертолетчики». «А слабые, а те, кто подальше?» Озноб не проходил. Он шел изнутри меня.

И тут пришли Рузана, ее муж и сын. Высокий, красивый. Похож на моего папу – молодого. Все стеснялись. Чувствовалось их почтение к Андрею. Оно мешало нам и, наверно, им. Рузана достала фотографии. Первая была – я и Егорка летом 1928 года. Другая – папа-студент. Родители Рузаны. Ее братья, один из них когда-то жил с нами в Ленинграде, папина мама – бабушка Шушаник – в старинном армянском костюме. Я смотрела фотографии, которых никогда не видела, смотрела на папино юное лицо, и озноб мой постепенно проходил. Рузана стала рассказывать. Она не помнила моего папу. Он уехал из Тифлиса, когда ей было четыре года. Она пересказывала то, что слышала от бабушки, мамы, отца.

Муж папиной сестры Геворк Габриелович Казарян был состоятельный человек, и папа смог учиться благодаря его поддержке. Сестра папы была в курсе всех его политических дел, начавшихся еще со школьной скамьи, и помогала ему и

его приятелям. Они собирались в доме Казарянов и там же прятали всякую нелегальщину. Однажды, сидя в гостиной на диване, Геворк Габриелович сказал Айкануш и папе: «Я только об одном вас прошу, чтобы в доме не хранили оружие». Он не подозревал, что оружие уже было запрятано в диван, на котором он сидел. После революции папа помог ему устроиться – рекомендовал на службу в какое-то учреждение.

Последний раз Геворк Габриелович был в Москве в начале 1937 года, у него начались неприятности на службе. Видимо, он думал, что папа сможет ему помочь, Рузана не говорила, смог ли папа что-то сделать, но отец ее репрессирован не был. Тогда, вернувшись из Москвы, он рассказывал домашним, что «Руфь очень грустная и боится за Геворка», потому что папа на каком-то заседании сказал о Берии: «За какие такие заслуги его нам на голову посадили», имея, наверное, в виду то, что Берия стал секретарем ЦК Грузии. Вскоре Айкануш перестала получать от папы деньги и ежемесячную справку для бабушки Шушаник, по которой семья покупала продукты и вещи в каком-то тбилисском спецмагазине. Они несколько раз писали на наш адрес в Москву. Ответа не было. Бабушка Шушаник пошла к маме Кобулова, которую знала со времен юности папы. Кобулов (тогда, кажется, председатель НКВД Грузии) был одним из тех молодых людей, которые до революции собирались в доме Казарянов. Мать Кобулова накричала на бабушку, чтобы она никогда не

попадалась ей на глаза, и прогнала. Последняя попытка что-нибудь узнать о папе и нашей семье была в начале 1938 года. Геворк Габриелович снова поехал в Москву и пошел в дом, где мы жили – «Люкс». Ему сказали, что ни Алиханова, ни его жены нет. «Уехали!» Он понял, что это значит. Спросил:

«А дети?» – «Тоже уехали». – «Куда?» – «Не знаем. Куда-нибудь». Это «куда-нибудь» потрясло старого человека, и он его много раз повторял. В это время Рузане было уже 17 лет, и все розыски нас и рассказ отца она хорошо помнит.

Когда пришло время реабилитации, к бабушке Шушаник пришли какие-то люди (кажется, из райкома) и предложили подать заявление на персональную пенсию, но она их выгнала. Сказала, что они не могут вернуть ей сына. И их пенсии она не хочет, слава Богу, живет не на улице, а в семье дочери. Бабушка Шушаник умерла в Тбилиси в конце пятидесятых годов. Рузана с семьей переехали в Ереван. Она и ее муж – инженеры. Сейчас оба на пенсии. У них двое детей и четверо внуков.

Рассказ Рузаны ничего не разрушил в моих воспоминаниях. Только больно, что мама не дожила до него.

Мы вместе ужинали в ресторане гостиницы. Я сказала, что сегодня годовщина смерти мамы. Дома на улице Чкалова собрались друзья. И Рождество! Кто-то принес и зажег свечи. За огромным ресторанным окном все падал и падал снег. Танки, стоящие на площади – стоят в Баку, стоят в Степанакерте, стоят в Спитаке – стали казаться большими сугроба-

ми. Рузане и Сергею надо было торопиться. Комендантский час!

([1] стр. 24–28).

* * *

В Ленинграде мама и папа жили в гостинице «Астория»… Впритык к «Астории» стояла другая гостиница – «Англетер», часть детей нашего садика жила там, и от них я впервые услышала слово «Есенин», вначале я восприняла это без последнего «н» – как имя, и ничего не поняла. Но дома оно звучало в разговорах взрослых. Я начала понимать, что произошло что-то очень плохое, к чему все относятся грустно-неодобрительно, даже со страхом[26]. Похоже, это тогда я впервые в жизни услышала про смерть. Что Есенин – поэт и что это было самоубийство, я не поняла…

[26] Самоубийство Сергея Есенина в гостинице «Англетер» 28 декабря 1925 г. – Сост.

Георгий Саркисович Алиханов, 1918 г.

Г.С. Алиханов, из следственного дела, 1937 г.

Через десять лет папа прочел мне последние строки Есенина[27] (тогда это были вроде как запрещенные стихи, и потому было немного странно услышать их от него) и удивился, что я их уже знаю. Но в это время мы уже много читали стихи друг другу, и в стихах папа не был пуританином (я имею в виду – партийным пуританином)…

В «Астории» мы прожили недолго и переехали совсем в другой район, на Петроградскую сторону, в дом, тоже исторически известный, 26–28 по Кировскому проспекту. Тогда эта улица называлась улицей Красных Зорь. Внешне этот дом казался мне похожим на «Асторию», хоть и не таким красивым. В нем, как и в «Астории», жили многие руководящие работники Ленинграда.

Жил в нем и Киров – хозяин города, что и я, несмотря на свой ранний возраст, понимала хотя бы потому, что за ним приезжала и привозила его машина, а других машин в доме я не запомнила. Привратница (позже их стали называть лифтершами) цыкала на детей, играющих у подъезда, когда эта машина только въезжала в огороженный красивой чугунной решеткой дворик. Киров и его жена как-то личностно общались с моими родителями. Поэтому он выделял меня среди ребятишек каким-либо мимолетным словом или поглажива-

---

[27] «До свиданья, друг мой, до свиданья, / Милый мой, ты у меня в груди…», см. Приложение. – Сост.

нием по голове. Я (вот и говорите о возрасте) внутренне уже ощущала в этом некую свою элитарность. Однажды Киров взял меня с собой в машину на виду у всей детворы, и я была с ним на площади во время демонстрации. Был какой-то не самый главный праздник, который назывался то ли «неделя детей», то ли «день детей». Потом я видела фотографию, где я рядом с ним, но у нас такой не сохранилось. И среди официальной фотолетописи Кирова я ее никогда не видела…

Руфь Григорьевна Боннэр, 1925 г.

В этом доме мы прожили тоже недолго и снова вернулись в район Исакия, на Малую Морскую улицу (потом ул. Гоголя), дом 18. Опять дом с историей. Он назывался «Гранд-Отель», и как раз в то время, когда мы туда переезжали из гостиницы, становился просто жилым домом. Когда-то он (в несколько другом виде) принадлежал шефу жандармов графу Бенкендорфу. В нем снимал квартиру Фаддей Булгарин, у которого бывал Грибоедов. А может, у кого-то и когда-то в этом доме бывал и Пушкин? В последнюю четверть прошлого века наследники графа перестроили дом под гостиницу…

GE

Р.Г. Боннэр, из следственного дела, 1937 г.

В мое подростковое время там были два больших клена, кусты сирени, играли дети и летал волейбольный мяч. После войны сирени уже не было. Остался только один полубольной клен. По левой лестнице на третий этаж – там я буду жить девочкой, там родится мой брат Игорь, оттуда я уеду в Москву, а потом вернусь после трагедии 37-го года как бы заново родившейся, оттуда уйду и туда вернусь после войны, туда из карагандинского лагеря вернется мама, и там родится Таня. Это по времени и по всему, что с ним связано, – мой дом. Как и Дом в Москве на Чкалова. Мама – с 1937 года заключенная и ссыльная – в 1954 году получила эту квартиру. Здесь выросли мои дети. И отсюда они уехали за океан.

Сюда пришел Андрей. И дом стал нашим – моим и Андрея. Здесь умерла мама. И здесь умер Андрей. Это мой дом. Все остальное – временное место жительства… ([1], с. 31–35).

* * *

Страничкой раньше я написала, что не знаю никаких привилегий у моих родителей в те годы, кроме большой нашей квартиры, но сейчас вспомнила еще одну – постоянные билеты-пропуска во все театры города. Не знаю, как эту привилегию «отоваривали» мама и папа. Мне кажется: они никогда не были театралами. Но я с Батаней каждое воскресенье ходила на дневной спектакль в Мариинский или Михайловский театр. Поэтому в 4–5 лет я уже не по одному разу прослушала все оперы, которые были тогда в репертуаре, и увидела все балеты. Наверное, это был несколько ранний возраст, но возможно, что чем раньше, тем лучше, потому тогда я даже на опере никогда не скучала. И несмотря на то, что все постановки были чрезвычайно пышны, ухитрялась еще домысливать их и в своих рассказах в детском саду…

… Иногда с тем, что я «брякала», происходили смешные инциденты. Так, однажды к папе пришел его приятель Вилли Бродский. Тут же появилась и я, и сказала; «Ты чего пришел? Уходи. Все говорят, что тебя надо долой». – «Как долой?» – «Ну, просто вон, я сама ходила с Нюрой на улицу, и там все шли и кричали «долой Бродского». И тут папа и

Вилля стали смеяться и говорить «долой Троцкого». «Троцкого?» – засомневалась я и почему-то очень на Виллю из-за своей ошибки обиделась. Вскоре я уже знала, кто такой Троцкий, и даже исподволь выяснила, что, хоть все вокруг мамы и папы говорят «долой», Батаня с ними не согласна. Она Троцкого знает и носила ему когда-то в Москве какие-то книги. Спустя годы я узнала, что в начале двадцатых, когда Батаня недолго работала в библиотеке в Кремле, она подбирала книги для Троцкого.

Должна сказать, что и сейчас я плохо понимаю, как в свои 4–5 лет я умудрялась видеть и слышать все, что происходит с взрослыми в нашем доме, и это при наличии детской, в которую меня постоянно отсылали. А вот чего я никогда не видела и не слышала – это чтобы папа и мама ссорились между собой. Я никогда даже не слышала раздраженного голоса и не замечала какого-нибудь напряжения в отношениях, и так до сего дня не знаю, бывало ли что-либо такое в их семейной жизни… (стр. 45–48)

* * *

Однажды следующей зимой я услышала, как папа сам себе читает стихи – он часто читал так и всегда охотно отвечал на мой вопрос, что он читает, и готов был по моей просьбе повторить любые строки. Он читал; «По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пья-

ными весенний и тлетворный дух…»[28] Я вычленила из всей фразы только «тлетворный дух» и сказала, что это «тот дух жареного и пирожных», который был в ресторане в Сестрорецке. Он со мной не согласился, объяснял по-другому, что – я не запомнила, но несколько раз прочел все стихотворение и назвал поэта – Блок. И поэта, и строки я запомнила. Это были первые стихи Блока, которые я узнала.

С братом Игорем (Егоркой), Ленинград, 1928 г.

По вечерам мы сидели на веранде, горела керосиновая лампа. Нюра писала письма. Она постоянно писала письма,

[28] Александр Блок, «Незнакомка». – Сост.

сначала в свою деревню, а потом, уже в Москве, куда-то в «ссылку». Батаня обычно что-то шила, а я должна была читать вслух. Еще в городе зимой Батаня стала учить меня грамоте. Этим летом я перешагнула барьер, который отделяет знание букв и умение сложить их в слова от желания читать, и к концу «дачи» стала меньше бродить по лесу и реке, потому что, тогда я прочла и знала наизусть Чуковского и другие книжки – стихи (я в то время любила только рифмованное). Батаня привезла на дачу большой в красном переплете с золотом (марксовский) том Жуковского и несколько раз читала из него вслух. Книга меня заворожила, и преодоление ятей и всего старого шрифта было почти мгновенным. Я стала читать – «Светлана», «Наль и Дамаянти», «Лесной царь», «Перчатка»[29] – я зачитывалась Жуковским до одури, до того, что мне все это снилось. Я читала по вечерам Батане и днем Нюре, читала по книге и сама себе наизусть, бродя по лесу и на реке. Почему Батаня привезла именно Жуковского? У нее был такой же марксовский в зеленом переплете Пушкин, синий Некрасов, темно-зеленый Гоголь, голубой Лермонтов и голубой же Никитин. Может, это был случайный выбор, но он сочетанием поэзии и фабульности как-то очень пришелся на мой возраст и навсегда сделал для меня поэзию «высшим родом искусства».

---

[29] «Раз в крещенский вечерок девушки гадали…. Благ зиждителя закон: Здесь несчастье – лживый сон; Счастье – пробужденье…» (Василий Жуковский, «Светлана»). – Сост.

В лето 28-го года, кажется, не было ни одного дождливого дня, только короткие летние грозы. У меня всегда вызывал непреодолимую смешливость Нюрин страх грома и молний. Она стремительно закрывала окна и двери, отгоняла нас от них и даже иногда заставляла ложиться на пол. Потом она бегом расставляла все ведра, корыто и нашу ванну (цинковую, с высокими бортами) под углы крыши и сидела с нами, торопливо бормоча какие-то слова, – я знала, что это она молится. Вечером после грозы обычно было купание в дождевой воде, нагретой в кухне на плите. Нюра мыла вначале Егорку, потом «до скрипа волос» меня, а потом себя. В кухне было жарко, но выходить Нюра не разрешала, я сидела и смотрела, как она моется. Всегда потом, когда видела знаменитую «Весну» (Пластов), где на лавке сидит девочка, а молодая женщина с распущенными волосами, стоя на корточках, подвязывает ей платочек, я вспоминала нашу Нюру.

Кончилось это необыкновенное лето и эта лучшая в жизни «дача», а были они долгими, как бывает только детство и в детстве. (Стр. 53–54)

* * *

В сентябре 1929 года папа и мама снова уезжали на курсы марксизма. Мы оставались. Перед отъездом они ходили по магазинам и однажды принесли мне небольшой глобус и большую, составленную из шести кусков карту мира. Каж-

дый кусок был такой большой, что всю ее разложить можно было только на кухне. Разложив ее, папа дал мне первый в жизни урок географии. Все было интересно и очень просто. До его отъезда мы еще два раза смогли разложить карту в кухне, а потом в нашей комнате расстилали на полу любые два куска. А на кухню я с ней не вылезала. Все соседи уже считали, что кухня принадлежит одинаково всем, но к папе относились все же с некоторым трепетом, и папа мог там так широко раскладываться. Ведь это он в разное время и по разным причинам пустил их жить в свою квартиру, потом прописывал, потом это становилась «их жилплощадь»…

Татьяна Матвеевна Боннэр (БаТаня) с внуками Зорей, Люсей и Игорем, 1929 г.

В начале зимы на несколько дней приезжала мама, и мы узнали, что теперь они с папой будут жить не на курсах марксизма, а в «Средазбюро». Это далеко, в Средней Азии, в городе Ташкенте. Когда мама уехала, оттуда стали часто приходить письма, а еще чаще – посылки с орехами, сушеными фруктами и какими-то еще сладостями. Их давали есть только мне и Игорю, что было странно. Раньше все ели всё. Батаня говорила: «Пришло письмо от мамы, она шлет вам привет», а Егорка спрашивал; «А он в большом ящике?» – он путал слова и не различал, что значит «письмо», «посылка», «привет». Я в то время уже перестала его так страстно любить, он мне мешал, так как я хотела только читать, и не ему вслух «Мойдодыра», а снова и снова Жуковского, Пушкина или Гоголя и книги, которые давала Батаня. Это не всегда была «классика» литературы для детей, но они были в «оппозиции» к тому, что мне покупали или давали читать мама-папа. Батаня откуда-то приносила «Маленьких женщин» и «Маленьких мужчин», «Лорда Фаунтлероя» и «Леди Джен». Чуть позже пошли Вальтер Скотт и Диккенс. Я буквально захлебывалась слезами, читая о маленьком Поле и Флоренс, воображая на их месте Егорку и себя. И Батаня разрешала мне рыться в старых комплектах журнала «Солнце России», которые лежали в ящике за сундуком в самом конце коридора. В них я читала все подряд, от рецептов лосьона для ухода за кожей до списков «доблестно пав-

ших офицеров и нижних чинов». Мама говорила папе, что я читаю «черт-те что», но Батане ничего сказать не смела. Это было их поле битвы, на котором Батаня явно выигрывала, ведь даже Пушкина в то (до-юбилейное) время «сбрасывали с корабля современности».

Вообще с чтением было так. Когда я была неграмотна, мне читали вслух Батаня, Матвей[30], Моисей Леонтьевич[31], Бронич, Рая[32]. Позже в Москве мы пополам с дядей Саней и Левой Алиным читали вслух друг другу большие (уже настоящие) книги. Но я не помню, чтобы вслух мне или Егорке читали мама или папа. Мама потом это с лихвой «отработала», читая Тане и Алеше и правнукам.

Папа читал только стихи – не по книге, а наизусть, в основном, уже тогда, когда и я ему читала. В стихах он давал себе волю. То, что он читал, никак не соответствовало принятому и признанному тогда официальной доктриной. Он много читал символистов. От него я впервые узнала Блока, Брюсова, Бальмонта, Сологуба, Гумилева. Он любил читать Лермонтова, реже Пушкина и Некрасова, читал Есенина и даже Надсона и Гиппиус. Но Баратынского, Тютчева, Фета, Ахматову, Мандельштама, Пастернака я от него не слышала. В Москве лет с 12 папа мне давал абонемент на 50 рублей (привилегия), по которому можно было набирать книги в магазине

---

[30] Боннэр М.Г. – дядя Е.Г. Боннэр. – Сост.

[31] Клейман М.Л. – Сост.

[32] Боннэр Раиса Лазаревна (1904–1985), военный врач, Ленинград.

«Академкнига» на Тверской, близко от того дома, который потом задвинули во двор, а на его месте воздвигли дом, где коктейль-холл и гастроном. Среди прочего я купила там коричневый, малого «академического» формата томик Тютчева. Мы читали его вместе с папой, и у меня создалось впечатление, что папе он был так же внове, как и мне. *Томик этот я на следующий день после ареста папы забрала вместе с большого формата «Фаустом» с его письменного стола, и он был у меня все годы в Ленинграде и исчез (воровать книги у нас не считается воровством!), уже когда родилась Таня…*

Читал папа наизусть и «Витязя в тигровой шкуре» – по-русски и по-грузински. Тогда только я узнала, что грузинский он знает, как армянский – ведь папа рос не в Армении, а в Тифлисе. Читал по-армянски армянских поэтов, и я знала имена Нарекаци, Исаакяна, Чаренца. В ту последнюю зиму, может, под влиянием папиного чтения армянских стихов мне захотелось знать армянский язык. Первым моим языком был армянский, а не русский, но в 12 лет я знала только «кыз мата», «джан» и «ахчик». Мама всегда была «Руфа-джан», по-другому папа ее не называл. «Кыз-мата ахчик» или просто «ахчик» была я, Игорь всегда был «Егорка-джан». Папа начал со мной заниматься армянским так, как занимаются, изучая иностранный язык со взрослыми – с алфавита и чтения. Это было незадолго до его ареста, так что я не только не успела ничего почувствовать в языке, но даже и алфавит

вскоре забыла.

Появилось новое слово «ордер», который где-то «давали», и Батане тоже дали. Она купила на него серо-голубую фланель, на ней были нарисованы красные трактора и зеленые елочки. Удивительно, как на всю жизнь врезался в память этот рисунок. Материал разложили на столе. Батаня, прикладывая к себе газеты, выкроила себе халат, Игорю костюмчик и мне платье. Они с Нюрой шили все это на ножной машинке, которую перетащили из кладовки, и Батаня говорила; «Если у них так пойдет, то скоро все будем ходить голые». Слова «у них» она при этом как-то особенно выделяла голосом. Было понятно, «их» она не любит, но я уже знала, что папа-мама тоже «они». В этом была непонятная мне конфликтность, ведь маму она любила – про папу я до сих пор не знаю… Приехали ненадолго мама и папа. И я слышала, как Батаня их ругала. Такой громкой ссоры у нас в доме до этого никогда не было. Она говорила, что дядю Мосю сослали, а дядя Витя (Прохоров) арестован, и что это «похуже, чем трясти деньги из порядочных людей», и «слава Богу, что Моисей Леонтьевич уже уехал», что у них будет «не перелом»[33], а они «сами сломают себе шею». Папа все время молчал; что говорила мама – я не слышала, и вдруг Батаня закричала: «А своих отпрысков можешь забирать», – я

---

[33] «Великий перелом» – выражение И.В. Сталина, которым он охарактеризовал политику форсированной индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. – Сост.

сообразила, что «отпрыски» это мы, и мне стало страшно. Я поняла, что боюсь «Средазбюро». Но мама и папа уехали без нас.

Нюра ходила опухшая от слез, а потом куда-то уехала и вернулась со своей сестрой Таней. Она была почти старая, сухая и совсем некрасивая, может, даже злая, но со мной и Егоркой была ласкова и называла нас «нюрины восприемники» – понять, что это значит, я не могла тогда, не понимаю и сейчас. Вначале она спала вместе с Нюрой. Вечером они с Батаней о чем-то подолгу разговаривали и иногда почему-то обе плакали… Потом все эти разговоры шепотком, слезы и Батанины отлучки «не в гости» окончились. Однажды она пришла очень довольная, что-то сказала Тане. Нюра и Таня стали снова плакать и смеяться, а Таня все время говорила: «Татьяна Матвеевна, век за вас молиться буду вот весь мой век». Скоро Таня стала «домработницей» (это тоже было новое слово) у бабы Фени.

Когда мы с Егоркой вернулись в Ленинград уже «сиротами 37-го», Таня очень хорошо к нам относилась, хотя вообще для всех соседей в «коммуналке» стала сущей мегерой. Тайком от Бафени она подкармливала нас (особенно Егорку) и всегда на дни рождения и на пасху дарила нам что-нибудь из одежды. Она приходила в подвальную прачечную, где я по ночам стирала белье, помочь мне. Иногда она за меня мыла лестницу, говоря при этом: «Иди уж погуляй, вон женихи ждут у парадной». «Женихами» она называла бра-

тьев-близнецов Фиму и Яшу Фуксов, которые действительно часто ждали меня у парадной.

Она жила в кладовке в конце коридора, за «страшным» сундуком, и прожила там до самой смерти в ленинградскую блокаду в феврале 1942 года. (Стр. 75–78)

* * *

В конце марта (*1931 г. – Ред.*) наша такая спокойная жизнь кончилась. Я ехала в Москву. Ехала я впервые в жизни одна. Батаня меня очень обстоятельно собирала, даже сшила новый халатик, в котором я должна была ехать в поезде, сшила новое белье и покупала какие-то вещи, будто я ехала не к маме и буду там в Москве жить одна… Я увидела маму, она встречала меня… «Это наша улица – Тверская, запомнила – Тверская», – сказала мама. Извозчик остановился у подъезда, облицованного серым мрамором, с двумя такими же мраморными колоннами по бокам, и мы через двойные двери вошли в большой вестибюль. По боковым стенам были зеркала и какие-то картины. Вдоль левой стены стояли небольшие столики и несколько кресел, справа в глубине была застекленная конторка с окошечком, там сидел кто-то, а у окошечка стояло несколько человек. Прямо в глубине вестибюля виднелись два лифта, к которым вели несколько ступенек, слева сидел швейцар… Лестница была застелена таким же красным ковром, как раньше в нашем «Гранд-Отеле».

Когда мы поднялись на второй этаж, я не могла удержаться и закричала: «Как тут красиво!» Мы были в зале, просторном, прямо как в «Астории». В стене справа был очень красивый камин, кругом стояли красивые столики, кресла и диваны, а сбоку, рядом с тем местом, где начинался коридор, большая, гораздо больше настоящей, такая же темная, как Медный всадник, собака. «Тут даже красивей, чем в «Астории», – сказала я, – тут как во дворце». – «Дворец и есть, насмотришься еще на эту красоту», – сказала мама очень сердито. Но я поняла, что сердится она не на меня, а на этот дом. «Чего-чего, а красоты в этом «Люксе» хватает», – продолжала мама. Когда мы шли по коридору, шагов наших было совсем не слышно, потому что по полу был расстелен толстый зеленый ковер (как по траве – подумала я). «Этот дом называется «Люкс»?» – «Да», – мама так сказала «да», как говорят «нет», и я окончательно поняла, что этот дом она не любит. Пройдя больше половины коридора, который был, наверное, в два, а может, и больше раз длинней ленинградского, мы вошли в большую комнату. Нюра и Егорка закричали: «Приехала, приехала», – и мы все обрадовались… Мама заторопилась на работу. Стоя в дверях, она сказала: «Когда пойдете с Нюрой гулять, то зайдете ко мне. Там все давно уже хотят тебя увидеть». – «Почему?» – «А они тебя знали, когда ты была маленькая, я тогда тоже там работала»…

Мы стали собираться на улицу, а пока Нюра мне все рассказывала про здешнюю жизнь. Ей очень нравится, и живет

она как «барыня». «Никаких печей, ты только посмотри – отопление, и всегда тепло. Никаких тебе керосинок и примусов – на кухне газ. Ты знаешь, что такое газ?» – «Нет». – «Ну, слушай, никакой копоти, кастрюли чистить не надо, чиркнул спичку – и все, чайник через пять минут кипит. Алиханов сам себе чай готовит, вот!» Я знала, что папа катастрофически не умеет управляться с примусом и керосинкой. У него всегда все горит, коптит, взрывается. Все, даже Батаня, предпочитали сами готовить ему чай, чем допускать до кухонной «техники». «У меня теперь руки, как у Руфы, посмотри, ведь никакой грязи, даже мусор не выношу. В баню здесь таскаться не надо. На третьем этаже есть душ, мойся не то что по субботам, а хоть каждый день. Там и постирать можно, только сушить, правда, негде, чердака здесь нет, зато ничего не украдут», – радостно продолжала она. В Ленинграде был чердак, от него у швейцара хранился ключ, но почти каждую неделю говорили, что у кого-то украли все белье. Однажды украли и у нас. «Пока Алиханов и Руфа на работе, я прямо здесь натяну веревку и сушу. Оно у меня живехонько под утюг – готово. Ты ведь знаешь, как я выжимаю», – она опять засмеялась. У Нюры была примета: «если слабо выжимать, муж пьяница будет», и она выжимала так, что Батаня говорила; «От твоих рук простыни трещат». Я на всю жизнь запомнила эти Нюрины слова о пьянице-муже и тоже, пока была сила, выжимала до последней капельки.

А Нюра все сыпала и сыпала на меня разными подробно-

стями: «Внизу столовая, когда некогда, можно обед готовый брать. Они там готовят очень даже прилично». – Слово было Батанино, и сказала она его с Батаниной интонацией. – «Девушки, которые в нянях живут, все славные. А хозяйки или одинокие мужчины – тут их чуть не полдома таких жильцов – почти никто по-русски не говорит. Иностранцы. А вообще в «Коминтерне» хорошо жить, это не то, что «курсы марксизма», и даже лучше, чем дома», – домом она всегда называла наш ленинградский – с него началась ее городская жизнь. «Какой «Коминтерн»? Мама сказала, что этот дом называется «Люкс»». – «Конечно, «Люкс»», но это и есть «Коминтерн», – настаивала она, но тут я была с ней не согласна, я уже знала, что Коминтерн – это Коммунистический Интернационал, как КИМ – Коммунистический Интернационал Молодежи, и вообще, что она не знает, что ли: «Заводы вставайте, шеренги смыкайте, на зов Коминтерна весь мир собирайте. Два класса сомкнулись в смертельном бою. Наш лозунг – Всемирный Советский Союз…». Но я не стала объяснять Нюре, что она говорит «чепуху» (слово папино)…

Вечером того же первого московского дня папа принес мне новую книгу, которую я перечитала подряд несколько раз, и она стала на пару месяцев любимой и первым лекарством от тоски по дому. Книга называлась «Газетные воробьи». Она рассказывала о мальчиках, которые жили в подвалах и трубах сточной системы – подземном городе, расположенном под Нью-Йорком. Они торговали газетами, ранним

утром бегая по большому холодному городу. У них никого не было – ни пап, ни мам, ни бабушек или старших сестер. Они сами помогали друг другу. Один из мальчиков заболел, все за ним ухаживали, но он все равно умер. Он был лучше и добрей всех, и его звали Чарли.

Я прочла книгу не отрываясь, лежа на животе на своем диване и заливаясь слезами. Потом я читала вслух Егорке. Потом, в третий раз, ему и Нюре, и мы плакали все вместе…

Мама говорила Нюре, что она обязательно должна съездить к «своим». «Свои» – это были Нюрины мама и папа и два брата. Я знала, что они «на поселении» или «в ссылке», но эти слова мама и Нюра в своих разговорах не употребляли. Их еще раньше говорила Батаня. Нюре, похоже, в ссылку ехать не хотелось, я не понимала, зачем мама ее туда хочет отправить, когда ясно, что на даче нам всем было бы лучше. Но Нюра уже собирала сахар и крупу, соль и спички и это ужасное хозяйственное мыло. Много мыла, потому что Нюра больше всего любила чистоту…

Нюра приехала от своих еще до того, как мы с Егоркой вернулись из Барвихи. Когда я пыталась расспрашивать ее, как там, она молчала. Но иногда вдруг сама начинала рассказывать, коротко, резко, как-то отдельными словами. Так я узнала, что ее младший братик утонул. Он был чуть старше меня. Пытался ловить рыбу из-под льда, потому что никакой еды не было. Он целыми днями этим занимался, но как это случилось – Нюра не говорила. Потом говорила, что

мама стала совсем плохая, у нее пухнут ноги, и она не может ходить. «Так вот и ползает еле-еле. А вообще ужас, Люсенька, полный ужас, ничего нет, землю хоть ногтями ковыряй. И ни одежки, ни еды – ничего», – потом она вдруг отворачивалась от меня и замолкала. А однажды сказала: «Вот Руфа и Алиханов не верят, что так худо, и говорить не велят, так ты смотри, молчи у меня», – закончила она строго. Потом я два или три раза видела, что она собирает посылки и ходит их отправлять. Но письма она получала только от сестры Тани из Ленинграда. Я однажды спросила ее, почему они ей не пишут, ведь она, наверное, скучает без их писем, и она просто ответила: «А я им не велела писать. Нельзя это, вред мне может быть. Да и ни к чему. Что в них скажешь, в письмах-то?»[34]. (Стр. 90 – 104)

* * *

Осенью 1931 года я пошла во второй класс школы № 27 на Большой Дмитровке… Не помню, почему, может, из-за очередной болезни, мама привела меня в школу не первого сентября, а на несколько дней позже. Внизу около раздевалки она передала меня учительнице. Та за руку ввела меня в

---

[34] Коллективизация 1930–1933 гг. – искусственно созданная Сталиным гуманитарная катастрофа вселенского масштаба: голодомор на Украине, на Дону, в Поволжье, а Казахстане, на Урале и т. п., миллионы «раскулаченных» спецпереселенцев, в числе которых и родственники няни Нюры. – Сост.

класс и, поставив около своего стола, сказала, что подумает, где меня посадить. Дети смотрели на меня. Я на них. И чувствовала себя так, как всегда чувствует новенький – чужак, то есть плохо. Свободных мест в классе не было. За некоторыми партами сидели по три ученика вместо двух. В Ленинграде я такого не видела. И даже при своем малом школьном опыте понимала, что это непорядок.

Неожиданно со второй парты среднего ряда встал мальчик, подошел ко мне, взял за руку, подвел к своей парте и подтолкнул на свое место, а потом сел сам. Учительница сказала что-то вроде; «Ну, вот и хорошо, что место нашлось». На задней парте кто-то засмеялся. Мой новый сосед погрозил кулаком куда-то вглубь комнаты. А я почувствовала, что мне не надо бороться за свое будущее место в этом классе, и вообще ощутила себя под защитой. Страх «новенькой» прошел. Мой «покровитель» сидел справа от меня. А слева был смешной мальчик, худенький, с торчащими волосами, торчащими ушами и весь какой-то топорщащийся. Он не отпихивал меня со своей половины скамейки, а сел так, чтобы честно поделить ее на троих. На переменке мой сосед справа достал из портфеля яблоко и перочинным ножом, который сам по себе вызвал мое восхищение, разрезал его на четыре части. Потом он дал кусок мне, кусок нашему соседу, кусок мальчику с задней парты. И последний взял себе. У меня тоже было яблоко и еще бутерброд с сыром. Я достала их из портфельчика и положила перед ним. Он проделал с ними то

же, что со своим яблоком. Но еще сказал, что сыр это хорошо, но он больше любит брынзу. Что такое брынза, я не знала, но решила, что завтра попрошу у Нюры брынзу. К концу переменки мы уже были очень хорошо знакомы. Мальчиков звали – правого Сева Багрицкий, левого – Гога Рогачевский, а заднего – Рафка Френкель. После уроков в толкотне раздевалки какой-то мальчик сказал, глядя на Севу и меня, «тили-тили-тесто, жених и невеста». Сева сразу стукнул его портфелем. Первый урок, а вернее, первая переменка определили мою школьную жизнь, друзей, круг общения. Во втором и третьем классе ни с кем, кроме этих трех мальчиков, я почти не общалась. И никого из детей не помню. Даже забыла, как звали учительницу… Дома я рассказала Нюре про своих новых друзей. А еще через несколько дней привела Севу и Гогу к себе. Рафка не пошел, потому что ему надо дома предупреждать, если он решит куда-нибудь пойти. Но потом он тоже будет ко мне ходить…

Еще через пару дней я впервые пришла к Севе в гости. В квартиру 9 на шестом этаже дома 2 в Камергерском переулке. Когда мы разделись в передней, из кухни нам навстречу вышла женщина, которая сразу показалась мне веселой. Она радостно удивилась, что нас трое. Видимо, привыкла, что Сева приходит вдвоем с Гогой, но что пришла я, ей тоже, кажется, понравилось. Слева в коридоре была дверь в Севину комнату. Там прямо против двери стояла кровать, а у окна стол – не письменный, а большой обеденный. На нем валя-

лись всякие книжки-бумажки, а еще больше их было на широком подоконнике. Около стола стояли два стула, а у стены небольшая полка с книгами, и какими-то игрушками. Сама комната была узкая и немного необычная, потому что дверь из коридора была не напротив окна, а в боковой стене. Когда Сева был у меня, он как-то небрежно глянул на рыбок в маленьком моем аквариуме и сказал что-то, что вот он мне у себя покажет настоящий аквариум. Но никакого аквариума в его комнате не было. Я решила, что он просто наврал: все всегда что-нибудь врут, это же так обыкновенно.

Тут в комнату вошла женщина, про которую я сразу решила, что она и есть Севина Маша. Он говорил, после знакомства с нашей Нюрой, что у них дома есть няня Маша. Она была совсем не такая, как Нюра – старая, некрасивая и говорила как-то невнятно, непонятно. Она поставила на стол большую сковородку с жареной картошкой. Севка закричал, что тарелок не надо, и мы стали есть из сковороды. Оказалось, что у нас троих самая любимая еда – жареная картошка (у меня по сей день). Потом та женщина, что встретила нас в коридоре, принесла чай. Это была Севина мама. Она была невысокая и показалась мне толстенькой. Она сказала, что пришла знакомиться и что ее зовут Лида. Но Сева строго сказал: «Лидия Густавовна»[35], а она стала с ним спорить, что Густавовна совсем не обязательно. Из-за этого их спора

---

[35] Л.Г. Суок (1895–1969), жена поэта Эдуарда Багрицкого, мать Всеволода Багрицкого. – Сост.

я долго никак ее не называла – хотелось «Лида», но я боялась, что Севка обидится. Потом еще долго я буду называть ее то Лида, то по имени и отчеству, и только, когда Севки не будет, стану всегда звать Лида, а вслед за мной и мои дети будут путаться между именем и именем с отчеством. И только после ее смерти она и для них станет просто Лида.

Когда Лида ушла, Сева сделал круглые «страшные» глаза и шепотом сказал, что идет в разведку. И пошел – вразвалку, на цыпочках. Я ничего не поняла и шепотом спросила у Гоги. Но он только сказал: «Сама увидишь». Сева вернулся и скомандовал нам: «За мной». Мы прошли в коридор, а оттуда в другую комнату, дверь которой была направо. Комната была больше, чем Севина. Там справа, на диване сидел мужчина, который показался мне немолодым и похожим на Махно (о нем я читала), потому что у него было много волос и были они какие-то то ли нестриженные, то ли непричесанные. В общем, я немного испугалась его. А он очень строго стал говорить, что пришла девица (ударение на «е», а не на «и»), и это явление новое, и как девицу звать-величать. Последние два слова он почти пропел. И хотя говорил он грозно, я уже поняла, что он шутит. И сказала: «Люся». Он сморщился, как будто ему не нравится мое имя, и сказал, что это ужасно, потому что с таким именем я всем должна быть мила. И всегда. Я попыталась что-то объяснить, что я не Людмила, но он сделал страшную рожу и закричал: «К-о-о-ш-ш-м-а-а-р». Все начали смеяться, он первый, я последняя. И тут Гога

сказал; «Тили-тили-тесто, жених и невеста». Мужчина строго спросил: «Чья невеста – твоя?» Гога показал на Севку. Тогда мужчина громко закричал: «Лида, Лида, скорей иди, уже свадьба. Лида!» Вошла мама Севы и увидев, что я почти плачу, строго ему сказала: «Эдя[36], перестань хохмить». Я это слово слышала впервые, но сразу поняла, что оно значит. А Эдя продолжал кричать, что невесту надо взвесить и измерить, принимать по описи и не забыть записать бант, он очень в-е-л-и-к-о-л-е-п-н-ы-й. Лида очень спокойно сказала, что взвешивать не будет, но измерит. Подвела меня к правому косяку двери, взяла со стола карандаш и, послюнив его так, что на губах осталось чернильное пятно, положила карандаш мне на затылок и отметила мой рост. Моя полоска, около которой Лида написала «Люся», оказалась посередине двух уже имевшихся. Чуть ниже моей было написано «Гога», а рядом с верхней – «Сева». Через год в третьем классе на этом косяке будут прочерчены три наши новые полоски, и опять моя будет посередине. Больше полосок не появится. Но эти я увижу в последний раз в один из военных годов, когда приду навестить Машу. Давно не будет Эди, Лида будет в Карагандинском лагере, Севка в Новгородской земле, Гога тоже в земле, где-то под Курском. А полоски станут

---

[36] Багрицкий Эдуард Георгиевич (1895–1934), поэт. Стихи: «Смерть пионерки», «Дума про Опанаса», «Контрабандисты» и др. «Так бей же по жилам, / Кидайся в края, / Бездомная молодость – / Ярость моя… / И петь, задыхаясь, / На страшном просторе / “Ай, Черное море, / Хорошее море…!”» («Контрабандисты»). – Сост.

немым свидетельством того, что когда-то мы вместе были в этой комнате…

Бывая у Севы три-четыре раза в неделю, я редко видела его папу. Нас не очень допускали в его комнату. Но иногда Севка зазывал меня туда, чтобы поприсутствовать при кормлении рыб. Эдя (так я называла его про себя, потому что это имя звучало в доме, а отчества я не знала), видя меня, шутливо-грозным голосом объявлял: «Наша законная невеста пришла» и потом устраивал какой-нибудь допрос, ставя меня в тупик своими вопросами. Так, однажды он стал выяснять, чем занимается папа. «Ну, работает». – «Он что, землю копает или ботинки тачает?» – спросил Эдя. Я молчала. Наученная ленинградским опытом, что слово «партработник» лучше не говорить, я молчала, мучительно думая, как объяснить, что делает папа, и, запинаясь, сказала: «Он пишет». – «Значит, коллега, – как-то на иностранный лад произнес это слово Эдя. – А что, прозу или стишата кропает?» И когда я уже готова была разреветься, выручила Лида, прикрикнув на него, чтобы он перестал мучить девочку. Эдя отвечал ей всегда одинаково: «Не девочка, а невеста. Должна уметь ответить достойно». Из-за этих разговоров я не очень рвалась в его комнату.

Люся Боннэр – в 5 классе, Москва, 1934 г.

Но иногда там было по-другому. Севка говорил: «Пойдем послушаем». Мы тихо протискивались в дверь. Комната была небольшой и поэтому казалось, что в ней много людей. Кто-нибудь читал стихи, потом Эдя ругал эти стихи. Я не слышала, чтобы он хвалил. Но ругал он так же, как разговаривал со мной – не поймешь, всерьез или шутя. Хотя, может, это только я не понимала. Меня поражало, как Эдины гости читали стихи – протяжно, с резкими перепадами громкости,

раскачиваясь, закрывая глаза. Мне не нравилось. Иногда по настоянию отца стихи читал Сева. Так же, как другие. Мне уже совсем не нравилось и даже хотелось уйти. Но однажды там были два человека, которые читали стихи самого Багрицкого так, что мне понравилось. Потом я узнала, что один был артист Журавлев[37], фамилия другого была Голубенцев[38]. Пожалуй, тогда мне впервые понравилось чтение стихов в Севином доме. Позже я удивлялась себе, потому что совсем разлюбила актерское чтение. Но тогда это было так. Вспоминая теперь это время, я думаю, что мне никогда не было легко в присутствии Севиного папы, чем-то он меня сковывал. Я его стеснялась. А с Лидой мне всегда было хорошо, легко, просто. И эта легкость отношений, сложившаяся, когда мне было девять-десять лет, протянулась потом на всю жизнь… (Стр. 105–113)

* * *

Наверное, в 1935 году Батаня, закрыв дверь в мамину комнату, сказала ей, что получила из Франции от своей племянницы Лили какую-то рукопись. Лиля – коммунистка и просит содействия в том, чтобы ее книгу напечатали в СССР. Мама сразу отказалась, сказала, что не будет смотреть руко-

---

[37] Журавлев Дмитрий Николаевич (1900–1991), актер, мастер художественного слова, Народный артист СССР (1979). – Сост.

[38] Голубенцев Николай Александрович (1900–1978), актер. – Сост.

пись и никакой Лили не хочет знать. Она была растеряна и, как мне показалось, напугана этой просьбой. «Скажи, как ты ее получила, от кого?» На этот вопрос Батаня как отрезала: «А вот это тебя не касается. Не касается, и все». И еще: «Позволю напомнить тебе, что до этой вашей революции порядочный человек такой вопрос не задавал». Когда Батаня говорила слова вроде «позволю напомнить» или «разрешите сказать вам» – это было признаком самой сильной степени ее гнева. Я прямо сжалась от страха у двери, за которой подслушивала, ожидая, что Батаня сразу выйдет из маминой комнаты, но она продолжала: «И я сама, с твоего разрешения, буду говорить об этом с твоим мужем». На этой фразе я, уже не слыша маминых возражений, шмыгнула в свою комнату. Через минуту вошла Батаня. Она так посмотрела на меня, как будто знала, что я подслушивала, но мне ничего не сказала. Говорила ли Батаня о Лилиной книге с папой – я не знаю. Книгу эту – воспоминания о детстве в Сибири и о том, как она стала коммунисткой – Лиля потом напечатала во Франции. В 1968 году я ее привезла из Парижа – на французском. Увы, эта моя тетя русского не знала. (Стр. 133).

* * *

В самом начале 34-го года я заболела. Заболела по тем временам страшно, почти наверняка смертельно. Я была на дне рождения дочки маминого приятеля… В трамвае ме-

ня тошнило и начал болеть живот. Вначале не сильно, потом сильней, почти нестерпимо. Когда я доехала до кольца – Страстная площадь была концом маршрута – то с трудом сошла и, превозмогая уже почти нестерпимую боль в животе, дошла до дома, поднялась на наш второй этаж и у двери потеряла сознание. Очнулась я на своей кровати. Рядом был папа… Хирург появился действительно быстро. Он сказал, что меня нужно немедленно оперировать, и все тыкал мне живот так, что я кричала от боли…

Помню, что меня прямо на моем матрасе несли по коридору… Потом я помню уже коридор больницы. Я лежу на коляске. Боль уже не такая сильная. Просто что-то тупое давит и давит на живот или в животе. Там был какой-то нестерпимо белый и страшный свет. Рядом стояли мама и Муся. Муся все время плакала, от этого было еще страшней. Я боялась, что мама уйдет, и тогда будет совсем плохо. Ведь на днях начинается съезд и ей надо регистрировать делегатов. И я сказала: «Дай мне свой партбилет». Мама спросила: «Зачем?» – «Чтобы ты не ушла». – «Я не уйду». – «Нет, дай», – и мама молча полезла во внутренний карман жакеточки, вынула партбилет и протянула мне. Наверное, она хотела меня успокоить, но мне стало еще страшней. Я подумала, что, раз она так легко отдала мне партбилет, значит я умру. А Муся все плакала, и временами мама тихо и зло говорила: «Перестань. Или уходи»… Как было страшно маме, я тогда не представляла. Ведь она стояла рядом, совсем с виду обычная. Потом

я узнала, что врач, который принимал меня и должен был оперировать, поглядев на плачущую Мусю и спокойную маму, отвел маму в сторону и сказал, что не решается говорить с матерью девочки, так как положение почти безнадежное, и он не знает, стоит ли оперировать. На что мама сказала: «Мама я. Оперируйте». Мама держала меня за руку, ее партбилет был у меня под подушкой. «Она не ушла, она не уйдет,» – думала я и смотрела в ее лицо. Оно было строгое, четкое, нестерпимо красивое и белое, как у Психеи в вестибюле Эрмитажа.

Такое же вроде спокойное лицо было у мамы 19 июня 1976 года, когда я ей сказала, что Егорка умер. В малюсенькой ее жуковской комнатушке-купе, стараясь не смотреть на нее и видя каждую морщинку ее худого, изможденного и всегда прекрасного лица. Оно окаменело, побелело. На несколько мгновений (а может, это было долго – я не знаю) она закрыла глаза. Потом открыла и, глядя прямо на меня, но вглядываясь куда-то далеко-далеко, за меня, наверное во всю свою жизнь, сказала: «Это несправедливо. Несправедливо». Как будто все, что было в прошлом – папино исчезновение, арест и гибель брата, ее семнадцать лет лагерей и ссылок – как будто это было справедливо.

А мне уже надевали маску и кто-то говорил: «Дыши! Дыши и считай!» Я стала считать: «Одна летальная бабочка, вторая летальная бабочка, третья…».

Про часы операции, про первые дни потом я знаю только

рассказы – моей памяти нет, потому что меня вроде как не было. Персики – тот самый компот оказался всему виною: тоненькая стружка от плохо открытой банки попалась мне, и я ее съела. Она распорола мне кишку, какой-то ее верхний отдел, у меня были прободение и перитонит. Много после я пойму, что в то время, до сульфо-, до стрепто-, до антибиотиков это было почти смертельно. Но на мне сошлось несколько счастливых обстоятельств: все случилось в городе, а не где-нибудь на даче, в деревне; тетя Роня, сразу заподозрившая худшее; мамино без раздумий согласие на больницу и операцию; и дежурный врач Басманной больницы, куда меня привезли, молодой ординатор Жоров, лет 27–28. Потом во всех курсах хирургии появится его имя, и его станут называть основоположником советской анестезиологии…

1961 год. Март – мокрый, ветреный, ленинградский. Алешенька лежит в небольшой, на четыре кроватки палате, справа от двери, ближе к окну. Свет падает на его бледное, с синевой, вытянувшееся личико. Мы с ним уже четвертый день в больнице – ревмокардит, тяжелый миокардит. Я только что проводила до лестницы Валю, сестру Вани[39]*. Валя – прекрасный врач. Она слушала Алешу и плакала так, что слезы падали на Алешкину обнаженную грудку. Алеша молчал. Я вспомнила плачущую Мусю, мой страх смерти тогда в Басманной больнице, и почти силой вытолкала Валю за дверь. Потом я села к Алешке на кровать и*

---

[39] Семенов Иван Васильевич, муж Е.Г. Боннэр, отец Алеши. – Сост.

*стала что-то говорить, что-то о Винни-Пухе – мы тогда (я – Алеше) читали эту книгу в первый раз. Алеша молчал и смотрел прямо на меня. На меня, в меня, за меня. Потом тихо, одними губами сказал: «Я умру? Да?» Я сказала: «Нет». У меня не было других слов, кроме этого «нет». Но оно было – это слово – правдой и для меня. «Нет». А то, как я по ночам выла волчицей на лестничной клетке ленинградской детской больницы им. Филатова, к этому «нет» не имело никакого отношения. Уже много после тех первых страшных алешкиных больничных дней и потом, и всегда я думаю, что же ребенок знает о смерти, как он возникает, этот страх, когда он проходит. Я была на пороге смерти в десять лет. Алешке было только четыре годика!.. (*Стр. 138–142*)…*

* * *

Почти весь 1934 год у нас дома говорили, что папа снова будет работать у Сергея Мироновича. А мы все снова переедем в Ленинград. Я радовалась, потому что тогда очень любила Ленинград, нашу длинную, как перрон вокзала, квартиру, любила жизнь с Батаней, несмотря на все ее строгости. Я замечала, что папа не очень-то любит свой Коминтерн и друзья у него «свои», а не коминтерновские. Коминтерновские тоже приходят по вечерам, и они играют в шахматы, но все это не дружески, а как-то по-другому. Я думала, что папе просто не нравится быть начальником здесь, он хочет в

райком. Мама иногда говорила, что она Ленинград терпеть не может и никуда не поедет. Но все понимали, что это несерьезно. А папа, смеясь, говорил свое обычное слово – «чепуха». Сначала считалось, что мы переедем весной, потом – что к осени и первого сентября я пойду в школу уже в Ленинграде. Но прошла осень, началась зима, а мы никуда не переехали. Были только разговоры, и папа твердил, что вот-вот все окончательно решится, что Сергей Миронович два или три раза с ним разговаривал. Кажется, один раз папа с ним виделся и дважды говорил по телефону…

В тот вечер у меня поднялась немного температура, и было решено, что назавтра в школу я не пойду. Я читала, лежа в постели, и никто мне не говорил, что пора тушить свет. Тем более, что Батаня, которая приехала на пару недель из Ленинграда, была где-то в гостях… В это время зазвонил телефон. Ничего необычного в этом не было – у нас звонили до полуночи и позже. Телефон стоял в столовой, и я слышала (и слушала) все разговоры… В этот раз к телефону подошла мама. Звонил Матвей из Ленинграда. И сразу после маминого «здравствуй» я поняла, что она ему не обрадовалась, как обычно, а стала говорить что-то тревожное, вроде: «не может быть», «ужасно», «ужасно», «ты уверен» – и позвала папу каким-то упавшим, почти беззвучным голосом: «Геворк, это Матвей, там…». Что «там» – она не сказала, а, передавая папе трубку опустилась в кресло и зажала лицо двумя ладошками так, что оно стало кругленьким, и, подняв его

к папе, сидела, не шевелясь. Я не помню, что говорил папа. Мне кажется, он только слушал, что говорит Мотя на другом конце. Потом папа сел на свое обычное место за столом, где уже стоял его стакан в подстаканнике (он никогда не пил чай из чашек – только из стакана), отодвинул его и так же, как мама, подперев голову руками, сидел и молчал. Мне очень хотелось спросить, что случилось, но, глядя, как они сидят и смотрят друг на друга, я не решалась.

В это время пришла Батаня. Было слышно, как она раздевается. Потом вошла и, увидев их, сразу спросила: «Что случилось?» Мама сказала: «Звонил Мотька. Там…» – и опять не сказала, что там, и тогда Батаня почти закричала: «Что с ним?» Ей ответил папа: «Киров убит». Он сказал «Киров», а не «Сергей Мироныч» или «Мироныч», как всегда. Батаня села. Все были какие-то убитые…

В моей памяти время, похоже, растянулось так, что от вечера, когда мы узнали про убийство, и до того, как все вошло в колею обыденности, прошел большой срок. Хотя по существу «в колею» жизнь больше не вошла никогда.

Вечером кончила писать эту главу. А ночью будто кто-то упрямо крутил перед моими глазами пленку. И стоп-кадрами: бледные лица. запавшие глаза, чья-то рука, стряхивающая пепел с папиросы. И лампа над столом то ли в дыму, то ли в тумане. Что провиделось им? Верным ленинцам, сталинцам, кировцам? Нет, надо в другом порядке – ленинцам, кировцам, сталинцам. Мои-наши ведь были киров-

цы. Только меняло ли это хоть что-то в их работе, жизни, судьбе? В их прошлом и в их будущем? Теперь я задаю вопросы. Вроде как со стороны. Из другого мира. Но неужели они ничего не понимали, не предчувствовали? Из тех, кто в кировские страшные ночи был у нас дома, погибли все мужчины! Нет, не все. Один остался.

Однажды, уже после зимних каникул, я спросила у папы, когда же мы переедем в Ленинград. Он посмотрел на меня как-то удивленно, как будто не понял моего вопроса, а потом что-то вспомнил и ответил; «Мы? Наверное, никогда». И, может, видя, что я огорчена, добавил, что я зря не сказала раньше, могла бы в каникулы съездить. Но все можно поправить летом – ведь летом тоже каникулы, и даже куда длинней, чем зимой. Он как будто нарочно не хотел понимать, что я спрашиваю не про то, чтобы мне съездить туда, а про то, чтобы нам всем там жить.

Это удивительно, как тогда мне хотелось жить в Ленинграде. А через два с половиной года, поехав туда потому, что арестовали маму и папу, я люто возненавидела этот город. Стала воспринимать его как ссылку, как место, где обстоятельства держат меня насильно. И только возвратившись после армии, простила городу тоску и сиротство предвоенных лет. Тогда, в 1945 году, я снова стала ленинградкой, не по прописке, а душой… (Стр. 173–181).

* * *

Шел «Пушкинский год»[40]. Вместе с государственным возвратом Пушкина в школе стало можно читать Жуковского, Лермонтова. Не только «На смерть поэта», но тревожную, уже тревожащую любовную лирику. Гога ходил в школу с Баратынским. Севка читал Каролину Павлову и Анненского. Я, хотя дома был томик Есенина, переписывала какие-то стихи оттуда в заветную тетрадку. Сколько потерялось, а она сохранилась. И мы трое начинали утро с обсуждения очередной главы книги Вересаева «Пушкин в жизни». Их изо дня в день печатала газета «Известия». В школе появился литературный кружок… (208)

* * *

В шестом классе я снова вернулась в Севин дом после почти двухлетнего перерыва. Я стала старше. Неосознанно, но по-другому относилась к Севе. У меня появился повышенный интерес ко всему, что его окружает. Лида приняла меня и как девочку, которую она давным-давно знает, и почти как взрослую. Настолько, что всегда представляла меня сво-

---

[40] 1936-й, предшествовавший 100-летию гибели А.С. Пушкина 29 января 1837 г.

им гостям. И часто, когда у Севы были только брат Игорь и я, нас звали в Эдину (теперь Лидину) комнату пить чай или ужинать. Мне кажется, что только теперь я увидела ее сестер Ольгу Густавовну[41] (маму Игоря) и младшую из всех троих – Серафиму Густавовну[42]. Они так же, как когда-то Лида, настаивали, чтобы я называла их просто по именам. С ними это было не трудно. Я сразу начала их так называть. Оля бывала у Лиды реже, чем Сима, хотя жила в том же доме, и обычно только забегала на несколько минут. А Сима почти ежедневно и целыми днями. И почти всегда там же был ее муж, Владимир Иванович Нарбут[43], круглолысоголовый, неулыбчивый, однорукий. Пустой рукав заправлен в карман пиджака. Раненый. На гражданской войне. Он вызывал у меня доверие. Только его из всех Лидиных завсегдатаев Сева (и я, конечно) звал по имени-отчеству.

Изредка заходившего мужа Оли Юрия Олешу[44], всегда насупленного и как будто буравящего тебя недобрыми глазами, Сева называл просто Юра, а я побаивалась и никак не называла. Я уже читала «Три толстяка», «Зависть» и рассказы. В «Трех толстяках» писатель Олеша мне нравился, в других я

---

[41] О.Г. Суок (1899–1978), художница, жена писателя Юрия Олеши.

[42] С.Г. Суок (1902–1982), младшая из трех сестер Суок, жена Владимира Нарбута, Николая Харджиева и Виктора Шкловского.

[43] Владимир Нарбут, поэт, прозаик, критик (1888–1938), арестован в октябре 1938 г., расстрелян в колымских лагерях.

[44] Олеша Юрий Карлович (1899–1960), писатель, драматург, поэт, киносценарист.

его не понимала. Мне казалось, что он пишет не правду, а некое притворство. Это подростковое отношение осталось, вместе со страхом перед Олешей-человеком, на долгие годы. И прошло только при чтении его уже посмертной книги «Ни дня без строчки». Постоянно у Лиды бывал (даже был) Поступальский[45]. Все звали его Игорь, так что я просто никогда не слышала его отчества. У Лиды в комнате везде были разложены бумаги, стучала машинка. Там собирались однотомник, потом альманах «Эдуард Багрицкий», готовилось к печати собрание сочинений. И всегда в комнате ощущалось веселье. Маша без конца что-то готовила на кухне. Нарядная Лида порхала из кухни в комнату, Сима накрывала на стол. И посуда была непривычно красивой. Как будто какой-то постоянный день рождения. Иногда я тоже легко включалась в эту атмосферу праздника. А иногда она меня пугала, почти отталкивала. Я не забыла робость, которую вызывали у меня шутки Эди. Но я от корки до корки знала уже Багрицкого-поэта. Он стал моим любимым советским поэтом. Независимо от того, что он отец Севы. Но и это присутствовало как-то необъяснимо тоже. И меня поражало, как быстро его комната стала Лидиной и ее заполнили бумаги – пусть и его. И эти люди. Пусть родственники, как Сима. Или друзья. Мне не нравился Игорь Поступальский. Он любил за-

---

[45] Поступальский Игорь Стефанович (1907–1989), советский писатель, переводчик, историк литературы, библиограф, арестован в 1937 г. вместе с В.Нарбутом, отбывал срок в колымских лагерях, освобожден после войны.

ходить в комнату Севы, так просто, как будто он был мальчик, живущий на той же лестнице, приятель. Сева так к нему и относился (во всяком случае, внешне) – по-приятельски. Иногда даже ощущалась некоторая снисходительность, как будто Сева был взрослым, а Игорь подростком. Я старалась избегать любого, самого незначительного разговора с ним. Боялась, что могу сказать какую-нибудь грубость. Я ревновала Лиду за Багрицкого и за Севу. Почему теперь у нее появилась такая роскошная каракулевая шуба? Почему теперь эта тонкая, белая с синим посуда? Почему она теперь всегда ходит в красивых крепдешиновых платьях? Почему у Севки теперь всегда есть деньги? Почему все теперь? Мне невдомек было, что после смерти Багрицкого его стали больше, даже много печатать. Я просто злилась, что это все без него. Злилась даже на патефон, который появился у Лиды в комнате и оттуда в комнату Севы доносились звуки танго или фокстрота. Или сладко-томительно пел Козин[46]: «Веселья час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года». Он тоже потом уйдет «в дальний путь на долгие года». А мы через пару лет станем часто танцевать под звуки этого патефона на асфальтовом квадрате внутреннего двора Севкиного дома. Танцевать подо все, даже под «Каховку». И Миша Светлов[47], про-

---

[46] Козин Вадим Алексеевич (1903–1994), советский эстрадный певец, поэт, композитор. – Сост.

[47] Светлов Михаил Аркадьевич (1903–1964), поэт: «Каховка, Каховка – родная

ходя мимо, будет смешно наморщивать свое небольшое, узкое лицо и жалостливо просить: «Ну, ребята, ну пожалуйста, ну не надо!».

А школа, кружки, стихи – все шло своим чередом. Мы уже не кидались подушками в Севкиной комнате. Мальчики и одна из сестер Кирилловых читали свои стихи и, почти как когда-то у Багрицкого, страшно ругали друг друга за них. Или я и Гога чертили бесконечные контурные карты. Почему-то в шестом классе их было очень много – и по географии, и по истории. Я делала это хорошо и получала свой заслуженный «хор». Гога делал блистательно, причем быстро, и пока я возилась, успевал сделать и себе, и Севе. И они оба получали «оч. хор». Гога заслуженно, а Севка только за то, что он в это время лежал на кровати, читал «Уляляевщину» или еще что-нибудь Сельвинского[48] (у него был «сельвинский период») и каждые пять минут кричал нам: «Гениально! Ребята, послушайте!».

Иногда мы, как в третьем классе, вместе с другими ребятами ходили на Трубную площадь кататься на санках. Но чаще ходили на каток «Динамо» на Петровке. Севка учил меня кататься, но я так навсегда и осталась почти начинающей. На этом катке встречались почти все ребята из нашей школы. Он был небольшой. Такой круглый пятачок между домами, над которым из черной тарелки плывет какой-нибудь неза-

---

винтовка…». – Сост.

[48] Сельвинский Илья Львович (1899–1968) – поэт. – Сост.

тейливый вальсок и в его ритме на блестящий лед падают неторопливые редкие снежинки. С катка уходили гурьбой, чуть ли не целым классом, и шли не домой, а мимо Большого театра, по Манежной и заворачивали к набережной. Там на углу была булочная. Севка – он был теперь самый денежный и даже такой, что нам не надо было скидываться – покупал конфеты. Были такие слоистые, вроде «раковых шеек», но дешевле, назывались «Эсмеральда». А потом шли через Красную площадь. И только тогда расходились. Никаких прогулок вдвоем в шестом классе я не помню. ([1] стр. 220–222).

* * *

Севка приехал в конце августа. Он позвонил. Я так разволновалась, услышав его голос, что он почувствовал мое волнение и спросил, что со мной. Потом я надела свое желтое платье. Мне очень хотелось вколоть в волосы цветок, как я делала, когда ходила с папой. Но я постеснялась. Мы встретились у аптеки и оба растерялись от радости и еще чего-то, что раньше так явно не присутствовало в нас…

Севка предложил пойти в школу. «Зачем?» Ответил, что так надо. По дороге он хвалил почему-то мою классную руководительницу – нашу математичку Александру Васильевну. Она и вправду была очень славной. А кроме нее и физика Николая Семеновича, у нас как-то не было учителей, ко-

торых есть чем вспомнить. Около школы Севка неожиданно сказал, чтобы я подождала его во дворе, потому что у него там дело, которое меня не касается. Я даже немного обиделась. Севка скоро вернулся чем-то довольный. Сказал, что видел Александру Васильевну, что она его спросила, приехала ли уже «коллегия адвокатов». Это она меня так прозвала за то, что я вечно ходила к ней канючить за кого-нибудь проштрафившегося. Иногда я делала это по собственному почину, иногда меня просил кто-нибудь из ребят, которым грозило наказание. Считалось, что я у нее «хожу в любимчиках». Может, так оно и было. Я сама замечала, что она как-то тепло ко мне относится и что это отношение не зависит от того, кто мои родители. Вообще-то у нас в школе было много ребят с родителями поважней моих.

До ленинградской школы мне было почти все равно, замечает ли меня учитель. Но, став «странной сиротой», я стала очень ценить тех, кто проявляет хоть каплю неформального внимания. Поэтому я очень любила учителя истории Мануса Моисеевича Нудельмана. Конечно, и потому, что в моей школьной жизни не было уроков интересней, чем его. И любила, уважала нашего директора Клавдию Васильевну Алексееву, хотя она вела самый пустой предмет из всех возможных – «Конституцию СССР и обществоведение». В 1938 году ввели плату за обучение в средней школе – 400 рублей в год. Я на полставки уборщицы зарабатывала 120 в месяц. Платить было не с чего. Я пришла к Клав-

дии Васильевне с заявлением об отчислении – собиралась идти в вечернюю школу. Их тогда стали кое-где открывать взамен упраздненных рабфаков. Клавдия Васильевна взяла у меня листок, посмотрела, встала из-за стола, плотно закрыла дверь своего кабинета и тихо сказала: «Неужели ты думаешь, что я собираюсь брать с тебя плату за обучение? Иди!». Чтобы освободиться от платы, надо было подавать заявление, которое рассматривал педсовет с участием комсорга. Теперь как-то забылось, что в 36-м году в школах ввели такую должность. Это всегда был взрослый человек, коммунист-комсомолец, который наблюдал за политико-моральным состоянием учеников и учителей. Отменили эту должность незадолго до войны, но в те годы это был самый страшный человек для всех в школе – явный представитель НКВД. Я заявления не подавала. Кто же платил за меня? Я думаю, что сама Клавдия Васильевна.

Потом мы гуляли, и Севка сказал, что в школе меня ожидает сюрприз. «Какой?» – спрашивала я. Но он дурачился и не отвечал. А когда мы прощались у колонны нашего мраморного подъезда и говорили о чем-то совсем другом, сказал: «Мы снова будем сидеть на одной парте. Как в третьем классе». – «Откуда ты знаешь?» – «Я просил Александру Васильевну перевести меня в ваш класс». – «И ты ей сказал, почему?» – «Да». – «Что ты ей сказал?» – «Какая разница. Ведь уже перевели». – «А Гога?» Севка грустно ответил: «С Гогой ничего не вышло. Он теперь вообще будет учиться далеко,

на Каляевской. У них какое-то новое районирование школ. Александра Васильевна хотела его оставить в нашей, но ничего не вышло, потому что комсорг был против». Я снова ощутила, как несправедливо «о-н-и» (кто «они», я сказать не умела) относятся к Гоге. Но эти «о-н-и» было сродни Батаниным местоимениям – «они», «их», «вам» – которые она в сердцах употребляла в адрес мамы, папы и всех их партийных друзей-товарищей.

Начался какой-то странный учебный год. Просыпаясь утром, я как будто окуналась в праздник, который был постоянен и прерывался только на сон. Умывание, одевание, завтрак – все летело мимо меня, как молния. А потом летела я, зная, что на углу Горького и Глинищевского ждет Севка. А если его не было на этом углу, значит, он будет на углу Глинищевского и Пушкинской. Мы налетали друг на друга. А потом вихрем летел день: за партой рядом, уроки делать – у него или у меня – рядом, гулять со всеми ребятами и рядом, стихи, кружки, книги – рядом, рядом, рядом…

…Когда Гога, откинув голову на тонкой, как у младенца, шее, читал свои стихи, в комнате становилось тихо. Так внимательно, как Гогу, мы не слушали никого. Мне казалось, что Сева немного ему завидует. Но читал Сева стихи – и свои, и чужие – лучше Гоги. Теперь я уже любила авторское чтение и всякое «актерское» считала пошлостью. А Гога постепенно стал реже бывать с нами. Действительно, его новая школа была далеко. Он много занимался. Начал где-то

подрабатывать. И влюбился. Надолго. На всю свою короткую жизнь. Девочка из новой его школы, удивительно стройная, рыжая, с розовым лицом и зелеными глазами, была победительно красива. И имя у нее было победное. Как-то года через два мы большой группой ездили купаться на водохранилище. Я лежала на песке и из-под ладони смотрела на Викторию, только что вылезшую из воды. Она была как статуя, которую окунули в расплавленное золото. Распущенные золотые волосы текли по плечам, а потом это нестерпимое свечение переходило на золотой пух рук, спины, ног. Все парни на берегу, как по команде «равняйсь», смотрели на нее. И среди них – наш Гога, длинный, тощий, с трогательно невзрослой шейкой. «Пусть недолго прожить…» Это и было недолго: в двадцать лет начальник штаба танкового полка капитан Георгий Рогачевский погиб на Курской дуге. Про Викторию я с юности ничего не слышала…

Иногда в вечернем маршруте вокруг Кремля начинались разговоры о политике. Ребята спорили. Страстно обсуждали. Шел процесс. Печатались речи Генерального прокурора. Резолюции митингов. Севка газет не читал и от этих разговоров уходил. Молчал. Шел. Посвистывал. Начинал читать стихи. Предлагал угадать, чьи. За ним на стихи переключались все. Я никогда не могла понять, действительно ли его не волнует все, что вокруг, или он не хочет это обсуждать. А за собой заметила, что не хочу больше читать газеты, слушать какие-то политинформации, вскрывать папины пакеты. Ме-

ня это ранит, разрушает то счастливое, праздничное чувство полета, с которым просыпаюсь по утрам и тороплюсь увидеть Севку. (Стр. 241–245)

* * *

Незадолго до Нового года (*1937-го – Ред.*) я пришла к Севке. Его не было на уроках, и я пришла, не позвонив. Он встретил меня как-то хмуро, молчал, не слушал, что я болтала. На вопрос, почему он не был в школе, сказал, что проспал. У Лиды в комнате было тихо. Я спросила Севку, где все. Он сказал, что мама уехала к Поступальским, а Сима[49] дома. «А Владимир Иванович[50]?» – «А Владимир Иванович арестован». Потом он сказал: «Между прочим, и Игорь тоже». – «Какой Игорь?» – «Ты что, дура? Не мой брат, а Поступальский». – «Тогда почему ты говоришь «между прочим»?» – «Потому что мама решила мне это не говорить». Потом он как-то грустно покривился и сказал: «Я подслушал…» И: «Вообще-то надо говорить не «между прочим», а «между прочими»». С этого момента мы с ним всегда об аресте кого-нибудь говорили только «между прочими» и имя. Позже, когда пришло время писем, так же объяснялись и в них.

Веселье в Севкином доме кончилось. Лида сразу из пол-

---

[49] Суок Серафима Густавовна. – Сост.

[50] В.И. Нарбут – Сост.

ненькой, веселой, нарядной девушки, какой она выглядела последние годы, снова превратилась в серьезную Севкину маму. Почти каждый день приходила Сима. Они там вдвоем пили чай, а нас не звали. Куда-то исчезли разложенные повсюду рукописи, и почему-то постоянно строчила машинка. Только не пишущая, а швейная. Лида шила. По-моему, это она так спасалась от беспокойства. Как мама, спустя много лет, уже когда у нас жил Андрей, если случалось что-то плохое, сразу начинала судорожно что-то вязать.

А в «Люксе» уже каждую ночь шуровали группы военных, приходящих арестовывать, и были слышны их громкие, хозяйские шаги. На лицах всех живущих в доме был отсвет обреченности. И у папы был такой же. Арестовали папу моей подружки с пятого этажа – Люси Черниной. Я ее успокаивала, что это же у всех. А она мне сказала; «А вот у тебя не арестовали». На что я ей ответила убежденно «арестуют», внутри себя скрывая безумную надежду, что, может, все-таки не арестуют. Мама Люси Черниной потом жила в одной комнатке с нашей мамой на нижнем этаже дворового «люксовского» флигеля, который почему-то назывался «нэпманским» (ирония от слова «нэпман»), куда «ссылали» с парадных этажей семьи арестованных – временно, потому что потом арестовывали жен. Маму арестовали на несколько дней раньше мамы Люси Черниной. Потом они встретились уже в АЛЖИРе – Акмолинском лагере жен изменников родины.

Севка чуть не каждый день сообщал мне новости про со-

седей и знакомых. Между прочими папа Юрки Селивановского. Между прочими папа Софы Беспаловой. Между прочими отчим Лены Берзинь. Между прочими князь. Князем он называл Святополк-Мирского[51], которого я часто видела у Лиды. Я ему в тон отвечала. Между прочими мама Елки. Между прочими папа Нади Суворовой. Между прочими папа Маргит Краевской. Между прочими Танев. Между прочими Попов. Между прочими… Между прочими… Было похоже на игру. И было так страшно. А потом мы как-то непонятно выходили из этого страха.

Почти каждый вечер по маминому пропуску, еще из МК, в театр. К Мейерхольду. В Камерный. К Вахтангову. Во МХАТ. К Коршу. У меня так красиво лежат волосы. Я тайком надеваю мамино темно-синее, почти черное, платье с белым круглым воротничком. Это про него Севка написал; «Что-то черное мне в память въелось, платье, волосы, не помню что…» И снова полет. Знакомый угол аптеки. Каток. Стихи…

Смена жильцов в доме происходила почти так же быстро, как и аресты, поэтому, видимо, общее число жильцов в нашем, таком красивом доме не уменьшалось. И что людей

---

[51] Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890–1939), князь, литературовед, арестован в 1937 г., скончался в лагере под Магаданом 6 июня 1939 г. Незадолго до ареста Мирский составил и отредактировал «Антологию новой английской поэзии» в русских переводах; книга вышла из печати в 1938 году и получила заслуженную известность, но имя составителя было снято и заменено именем переводчика М. Гутнера («гутнеровская антология»). – Сост.

уводят, становилось обычным, привычным делом. Спокойно, ночью. В первую ее половину. Так что шаги, вскрикивания, иногда плач бывали слышны часов до трех ночи…

За столом папа внезапно спросил меня: «Ты что, без Севы жить не можешь?» Я почувствовала, что краснею, и опустила глаза в тарелку. «Ясно, – сказал папа. – А он без тебя?» Я собрала в себе все силы и ответила: «Тоже!», и папа сказал по-армянски: «Сирта ворканот шуша э чи сохана», и потом перевел: «Сердце как стеклянное, разобьешь, не починишь». Мама сказала: «Геворк…». Я перевела глаза на нее, ожидая, что сейчас она заведет свое: «Что ты говоришь при ребенке…». Но она, чуть улыбаясь, переводила взгляд с меня на папу и потом снова на него. А в глазах у нее, похоже, стояли слезы… (Стр. 246–251)

* * *

Моя любовная жизнь! Школьная жизнь! Но была еще и домашняя. Наш «Люкс» уже стал местом просто катастрофическим. Среди его пятисот с лишним «номеров» (так называли комнаты – по-гостиничному) чуть ли не на каждой третьей двери была страшная мета – сургучная печать. Воистину – Каинова! Или ее уже сняли, потому что въехал новый постоялец. Некоторые въезжали совсем ненадолго. Не успеешь приглядеться к новому лицу, как оно исчезает. А на дверях опять печать. Надо очень стараться, чтобы, когда ви-

дишь ее, заставить себя не видеть. Иначе невозможно жить с тем светом, который в тебе. Сразу сникаешь. Здороваешься с кем-то в лифте или коридоре. И хочешь – не хочешь, вдруг выпрыгивает мысль: «А когда его арестуют?» Или еще страшней: «Вдруг папу? Вдруг это будет завтра?».

Когда папу арестовали[52], нас сразу переселили из нашего четырехкомнатного «апартамента» в одну большую комнату окнами во двор на том же втором этаже. В «нэпманском» уже все было занято такими же «переселенцами». А на двери нашего номера появилась такая же печать. Она так и лезла в глаза, когда я проходила мимо. Там, за этой печатью, остались все книги, кроме детских. Их нам разрешил перетащить тот самый комендант, который когда-то изображал большую любовь к нашей семье. Остался и большой Батанин сундук, из которого она время от времени доставала серебряные вещи, чтобы снести в Торгсин, или какой-нибудь отрез, из которого папе надо было сшить «приличный костюм». Или мне шилась новая юбка из чего-то, добытого оттуда же. Этот сундук во время обыска запечатали, потому что у мамы не было ключей от него.

На следующий день приехала Батаня с Игорем. Наша домработница исчезла, потому что боялась, что ее «загребут» как монашку. Мы «переехали». И тут выяснилось, что в доме почти нет денег. Только немного у Батани, на которые она должна срочно ехать в Ленинград. Пришла (в эти же дни!)

---

[52] Арестован 27 мая 1937 г. на работе. – Сост.

телеграмма, что у тети Любы[53] умер муж. Мама на вопрос о деньгах никак не реагировала. Она вообще после ареста папы первые дни ни на что не реагировала. А Батаня рассуждала о том, что кое-что из сундука можно было бы продать, но теперь все пропало. И книги можно бы продать, хотя с книгами плохо. Она говорила, что все «такие» теперь таскаются с книгами. И садилась на своего конька, начинала рассуждать, что «им» надо бы уметь смотреть хоть на два шага вперед. Что «все это» разумный человек должен был знать заранее и хоть о детях подумать. Потом она смотрела на маму и вдруг умолкала.

А я придумала, как вернуть вещи. Но сказать боялась. Я пошла к нашим соседям из номера восемь. Сунаркин папа был арестован чуть раньше нашего, и они собирались куда-то уезжать (не успели, потому что еще через пару дней арестовали ее маму, а саму Сунарку забрали в детский дом). У

---

[53] Боннэр Любовь Матвеевна (1898–1976) в замужестве Цигальницкая. «*Тетя Люба – Любаня – была любимицей всей семьи, как мне кажется, не только потому, что была младшей, а за свою удивительную доброту, покладистость и отзывчивость. Была она большеглазой, со светлым лучистым взглядом, невысокой, даже маленькой, пухленькой, подвижной и легкой. Всегда казалось, что все она делает легко и все ей легко, хотя жизнь у нее была нелегкой. Ее муж много лет страдал тяжелым туберкулезом. Она рано овдовела и осталась с одиннадцатилетним сыном. Сын много болел, и с деньгами всегда было трудно. Зубной врач в детской консультации – не великий богач. На ее руках в блокадном Ленинграде умерла моя бабушка, и она же вывезла из него мою младшую двоюродную сестру. В Ленинграде мы жили совсем рядом, на одной улице, но не это определяло нашу близость, а ее характер. С ней нельзя было поссориться и ее нельзя было разлюбить*.», – Е.Г. Боннэр, «Дочки-матери». – Сост.

них в комнате был балкон, на который выходило окно моей комнаты. Я договорилась с соседкой. Потом вечером привела Мику и Борю Баринова. Мы часа два кантовались где-то в необъятных коридорах нашего дома. А когда жизнь в доме замерла, пришли к Сунарке, через балкон влезли в нашу квартиру. И стали таскать книги – на балкон, потом в комнату, потом на цыпочках, бегом по коридору к нам. Потом мы тем же путем волокли сундук. Я думала, что мальчики с этим не справятся, такой он был неподъемный и никуда не пролезающий. Но пролез! Мы только продавили одно стекло. Я страшно испугалась, когда раздался звон. Но прохожих на улице не было, а в доме никто, видимо, не услышал. Батаня смотрела на всю эту процедуру тревожно, но не осуждающе. Мама продолжала молчать. Потные усталые мальчики собрались уходить. Я их вывела по черной лестнице во двор и вернулась. Мама опять молчала. Батаня сказала мне «умница» и дала сверточек, чтобы я выбросила в общее ведро на общей кухне. Я спросила, что в нем. Батаня не ответила, только взглядом показала на сундук. На нем уже не было трех бордово-коричневых печатей. Сундук как сундук – ничего особенного. Крепкий.

Прожил с нами в Ленинграде. Приехал в Москву снова. Всегда стоял у мамы в комнате. Теперь стоит у меня. Кто-то недавно сказал, что его давно пора выбросить. Ни за что! Во-первых: он, может, еще из Батаниного приданого. Во-вторых, свидетель, неживой, но свидетель.

Общее количество детей в «Люксе» уменьшалось не так быстро, как уводили взрослых. Семью перемещали в дворовый, «нэпманский» флигель. Спустя какое-то время обычно арестовывали маму. Потом ребенка увозили в детдом. Или его забирали родственники. А те, кто постарше – ну, вроде меня – обычно быстро сами куда-то уезжали. И иногда среди подростков шепотом звучал вопрос; «Ты не знаешь, куда смотался…» – далее шло имя, иногда русское, чаще иностранное. Так я спрашивала, куда смоталась Люся Чернина, и мне кто-то через чью-то еще не арестованную маму передал ее адрес. Она смоталась в Сталинград к тете. Я переписывалась с ней до войны и потом еще целый военный год, пока не получила сообщение, что «санинструктор Людмила Чернина пала смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины…». В Сталинграде! Люсина мама была вместе с моей в лагере. И потом я узнала, что Люся у них была приемная – детдомовская, любимая приемными, бездетными родителями. И умерла, не зная, что она – приемыш… (стр. 265–266)

* * *

Приближалось Первое мая. В газете вместе с первомайскими призывами, гневными осуждениями и призывами к усилению бдительности, вместе с «Ежовыми рукавицами» появилась статья о премьере во МХАТе «Анны Карениной».

Об этом говорили дома, говорили в школе, говорили на люксовской коммунальной кухне. Говорили так много, видимо потому, что это событие давало возможность какой-то передышки во всем, что ежедневно взваливалось на людей, когда они смотрели газету. Газет не надо смотреть! Я, с декабря 34-го став «газетчицей», открыла эту истину для себя в середине 36-го – после смерти Горького. Не открывать! Даже несмотря на Испанию. Про Испанию где-нибудь да услышишь или надо поглядеть в папиных курьерских конвертах.

Так много кругом было разговоров про «Анну Каренину», что я срочно стала читать. До этого читала только «Детство», «Отрочество» и «Юность», «Войну и мир» и «Хаджи-Мурата».

Вспомнилось. Моя Таня читала «Войну и мир». Лет в пятнадцать. Летом. В Переделкино. Пришел Виктор Борисович Шкловский[54]. Взглянул. Сказал: «Какое счастье – читать «Войну и мир» первый раз». А Егорка однажды спросил: «Кто это Аня Каренина, парашютистка, что ли? Или она как Паша Ангелина?». (стр. 268–269)

* * *

Первого Мая 1937 года. На улице Горького из верных радиораструбов неслась музыка, развевались флаги и шли улы-

[54] Шкловский В.Б. (1893–1984), писатель, критик, киносценарист. – Сост.

бающиеся люди. Мимо меня прошла, смеясь, группа парней и девушек с большими бумажными маками. Я стала смеяться с ними вместе. И бегом понеслась к школе. Во дворе школы было много ребят. Все оделись почти по-летнему, но даже на солнце пробирала дрожь от холодного ветра. Девочки ежились, прыгали, толкались. Мальчики, как бы греясь, обнимали их. Севка обнял меня. И было это очень просто, хотя и на виду у всей школы. Когда строились в колонну, Александра Васильевна, проходя мимо нас, улыбнулась и сказала: «Голубки мои, мало вам за партой ворковать?». И Севка ответил: «Ну, конечно, мало, Александра Василька».

Потом школа пошла. Нам идти было близко, ведь мы всего в десяти минутах ходьбы от мавзолея. Мне кажется, наша школа была самой центральной в Москве. Ближе я не знаю. Но идти все равно получалось долго, потому что в те годы на демонстрацию ходило много народу. И кажется, всем, а не только школьникам, бывало весело. И всем хотелось увидеть вождей на мавзолее. Тогда мы все их знали в лицо. От узнаваемости лиц казалось, что они очень свои, как друзья или родные. Уже много лет не только я, но и многие вокруг знают только одно лицо, может, два. Да и то спустя несколько лет лица эти забываются. Я, например, помню Хрущева, Брежнева, Андропова, а уже Черненко – нет. И конечно, покажи, так не узнаю лиц тех, кто был в Политбюро в их времена. Хорошие или плохие, даже страшные, но какие-то все скоропреходящие. Так и хочется написать – «скоропортящи-

еся». А тогда замирало внутри от волнения, что сейчас увижу Сталина, Ворошилова, Буденного, конечно, Ежова (как же, мамин приятель, говорят, у него на столе стояла одно время фотография нас с Егоркой. Того времени, когда мы были маленькими ленинградцами). А жена его еще со времен Одессы была приятельницей Багрицкого – совсем свои люди! И все остальные на мавзолее. И совершенная уверенность, что не только тебе, а всем, кто шагает рядом, размахивает флагами, флажками, искусственными цветами, несет тяжелые транспаранты, истово выкрикивает лозунги – всем радостно видеть эту группу людей на правом крыле мавзолея. И я про себя (Бог ты мой – маленькая дурочка, недоросль!) повторяла: «Сильнее и чище нельзя причаститься к великому чувству (или слову – память подводит!) по имени класс». И чуть колыхалась досада, что я люблю Маяковского, а идущий рядом, сжимающий мою руку Севка – нет. Ведь сказано (и кем!) «…был и остается…»[55]. И еще на то, что я все-таки революционная и партийная, а мой (уже давно я говорила «мой») Севка – нет.

После демонстрации, перейдя Москва-реку, обычно все разбредались кто куда, потому что на нашу сторону, пока не кончится демонстрация, вернуться нельзя. Она будет долгая, часов до четырех-пяти. Всем хочется пройти по Красной площади и увидеть вождей. А народу – трудящихся –

---

[55] «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», – И.В. Сталин. – Сост.

в Москве много. После демонстрации я всегда шла к Мусе Лускиной[56] в Дом правительства, обедала там и спала, пока нельзя пройти домой. В этот раз со мной пошел Севка. Муси, Вани и Вилена не было. Был только их младший сын, которого они родили, пока проводили коллективизацию в ЦЧО, и их домработница. Она нас накормила. И мы пошли на Воробьевы горы. Ушли далеко, далеко, где был уже не парк, а лес. Листвы на деревьях еще нет, но почки, если растереть пальцами, были липкие, душистые. И много-много подснежников. Белые островки на еще темной, влажной земле. И мы нашли новое место, где не страшно целоваться. Оказывается, в лесу тоже хорошо. Не только на крыше. (стр. 271–272)

* * *

27-го мая был последний экзамен. Моя подгруппа сдавала его с часу дня. Утром, когда мама уже ушла, мы завтракали вдвоем с папой. Потом он что-то писал и рылся в ящике стола. Потом собрался уходить. В светлом костюме и белой рубашке-косоворотке с маленькой вышивкой по вороту и там, где идут пуговицы. Он заглянул ко мне в комнату, улыбнулся и сказал: «Ну что, Кармен-Джульетта, ни пуха, ни пера! А ты не знаешь, где взять пару чистых носовых платка?» – «Платков, – поправила его я и засмеялась. – Опять падежов

---

[56] Лускина Мария Исааковна (1899–1996), член ВКП(б). – Сост.

не знаешь!» Потом достала ему платки – он любил, чтобы было два – по платку с каждой стороны. У него сегодня живот не болит, подумалось мне. А он повторил; «Ну, ни пуха, ни пера!» И ушел, молодой, красивый, такой весь ладный.

А я пошла в школу, не торопясь. До часу дня времени было много, и можно было еще раз вдолбить Елке ответы на все вопросы. Мы с ней всегда сдавали в одной половине класса. Я на «Б», а она на «Д». Я легко ответила на свой билет, получила свой «оч. хор»…

С разбега я дернула нашу дверь. Она оказалась запертой… В коридор выглянула Монаха[57]. Я, удивленная, что дверь была закрыта, когда она дома, вошла в переднюю. И… И спустилась с небес на землю. Рядом с Монахой стоял военный, другой был виден в раскрытую дверь столовой. Он сидел за папиным шахматным столиком. Монаха молчала. Да мне и не надо было что-то объяснять. Все и так было ясно. Просто это пришло к нам… Пришло! Кто? Папа или мама?

Я прошла в столовую и мимо продолжавшего неподвижно сидеть военного в открытую дверь маминой комнаты. За папиным столом военный что-то писал. В эркере стоял и смотрел в окно другой. В книжном шкафу рылся третий. А мама сидела на кровати, стоявшей у левой стены. Прямая. Чуть наклонившись вперед. Наверно, на кровати по-другому долго сидеть неудобно. Ее руки, согнутые в локтях, со сжатыми в кулаки ладонями, были прижаты к плечам. Казалось, она

---

[57] Няня-домработница. – Сост.

стягивает на себе какую-то невидимую шаль. Волосы были растрепаны и потому более кудрявые, чем всегда. А лицо… Лицо… Смотреть в него было невыносимо. Больно. Хотелось кричать. Она была бледна. Бледней простыни, которая выглядывала из-под края загнувшегося одеяла. Ярко-синяя мужская рубашка, та, что папе подарила Долорес[58], бросала на белое ее лицо синеватый отсвет. «Почему она в шерстяной рубашке, когда сегодня так тепло», – мелькнула у меня какая-то совсем лишняя мысль. Я сделала шаг к ней, но споткнулась о лежащие на полу книги и посмотрела вниз. А когда подняла глаза, мамин взгляд меня остановил. Он был как стена. Как приказ. Я не могла ослушаться. Она смотрела на меня долго. «Прощается, – подумала я. – И боится, что я расплачусь. Тогда и она тоже…» Домыслить я себе не разрешила. И тут мама сказала спокойно, только голос был, может, чуть громче, такой, когда стараются говорить ясно: «Иди к себе» и, наверно, чтобы я ничего не смогла сказать, ничего сделать, а главное – ринуться к ней, прижаться, отвела от меня взгляд…

На кухне сидела Монаха. На коленях – сжатые в кулаки кисти рук. Лицо наклонено вниз. «Может, она молится?» – подумала я, когда она подняла лицо и странно посмотрела на меня. Я попросила у нее чаю, она налила. Достала хлеб,

---

[58] Долорес Ибаррури («Пассионария») (1895–1989) – деятель испанского и международного коммунистического движения, с 1960 года лидер Коммунистической партии Испании. – Сост.

масло, сыр и холодные котлетки. Я стала быстро есть. А ее попросила сделать бутерброды и заварить хороший чай для мамы. «Пожалуйста, как для папы!» Монаха от этого слова вздрогнула и с испугом посмотрела на меня… Хождение мимо этих двух неподвижных истуканов в передней и столовой – один сидит, другой стоит – было неприятно, даже страшно. Я преодолела страх, но когда стакан был снова в руке, услышала, как ложка стучит о край стакана. Мама сидела в той же позе. Она посмотрела на меня и протянула руку. Мне показалось, что ко мне. Но она положила раскрытую ладонь на стакан, как будто греет ее. Потом стала тихо гладить подстаканник. Я почувствовала, что могу заплакать. Наверно, и мама это ощутила, потому что другой рукой чуть оттолкнула меня и сказала: «Люся-джан, иди к себе». Я поняла, что она боится моих слез. Или, может, своих? Никогда она меня так не называла. Я тогда же поняла, мгновенно, что ей просто хотелось сказать папино слово. Я пошла к себе, хотя нестерпимо хотелось сесть рядом, прижаться, плакать…

Послышались шаги. В столовую вышел главный, за ним мама, последним шел тот, что рылся в книгах. «Сейчас они ее уведут!» – и я бросилась к маме. Она опять только взглядом остановила меня и спросила: «Можно к тебе?» «Господи, что она…», – не успела я додумать, как главный вошел в мою комнату и за ним тот, что шел сзади мамы. Этот сразу повернулся к стеллажу, который стоял у стенки слева от двери, и, пригнувшись, стал водить пальцами по корешкам, не

вынимая книг. Потом вытащил Маяковского и стал трясти из него на стол бумажки – это я что-то писала, проверяя, запомнила ли разбивку на строчки. Главный сел к столу. Мой стол был небольшой, два ящичка, один узкий, другой пошире, но они глубоко уходили вниз, так что я последний год уже стукалась о них коленками. Он двумя руками сразу выдвинул ящики и стал рыться, как-то противно, сразу в двух. Там были какие-то коробки с красками, тетрадки, пенал, тоненькая пачка писем Севы, перехваченная розовой резинкой. Он поддел ее указательным пальцем, согнутым в крючок, и она сразу соскользнула. Отчего-то это было больно. Потом он вынул снизу общую тетрадь в синей обложке – мой дневник. Я импульсивно ринулась к нему и вырвала: «Мой дневник. Дневник. Не дам». Он протянул руку ко мне. Всем лицом, но вроде как без глаз, уставился в меня. Вровень со мной. «Почему они все низкие? Недомерки какие-то…» – мелькнуло в голове. У нас все родные и друзья были высокие. Да и в коминтерновских коридорах низких было мало. Потом его лицо перекосилось злостью или улыбкой – я не поняла, и он сказал: «А мне и не надо». И повернулся, окидывая взглядом комнату. Я стала смотреть вслед за ним. И во мне появилось ощущение, что это уже не моя комната…

Главный приподнял край плахты, и открылись три сундучных замка. От одного, что посредине, ключ был довольно увесистый, и когда Батаня поворачивала его, появлялся приятный, но громкий звук звонка – как в дверь. Боковые

замки открывались плоским ключом причудливой формы. «Ключи?» – повернулся главный к маме. – «Это сундук моей мамы. Ключи у нее». – «Ну что, ломать?» – спросил он неизвестно у кого. Тот, что рылся в книгах, сказал: «А сундучок хороший». «Запечатать», – сказал главный… Он положил печать в карман, застегнул его. Бросил белоглазому: «Книжные шкафы тоже припечатать». И пошел на нас с мамой. Мы отодвинулись от двери. Проходя мимо, он снова приблизил ко мне свое безглазое лицо, перекосился и сказал: «Вот и все, а ты боялась!» Я уже слышала несколько раз эти слова и, не совсем понимая, прозревала их непристойный смысл. Я почувствовала, что краснею.

Но тут мама сказала: «Люся, я договорилась с товарищами. Ты сейчас пойдешь…», – она назвала имя своей подруги. «С кем – я была так ошеломлена словом «товарищи», что до меня не сразу дошло, что она от меня хочет. – Нет. Никуда я не пойду. Не пойду». – «Люся, мы не будем сегодня спорить. Пожалуйста. Я прошу тебя. Надень вязанку, наверное, уже прохладно», – закончила мама…

Очнулась я на улице от холода. Я прижала коленкой к витрине галантереи, где всегда покупала себе ленты, книгу и тетрадь и натянула на себя кофточку. Теплей мне не стало. Дошла до Пушкинской-Страстной. Села на «Аннушку». Кажется, я доехала очень быстро, даже проехала одну остановку, потому что вдруг увидела, что за окном проплывает знакомый дом. Вышла из трамвая и пошла в другую сторону.

Ни к кому. Я пошла на бульвар… Так я дошла до Страстного бульвара, который тогда стал официально называться Детский парк Свердловского района. Я села на лавочку… И плакала, и плакала. Потом стала думать. Что теперь делать? Что будет с мамой? С папой? Неужели я их никогда не увижу? Мамочка… Папа… Мой Алиханов. Может, мне надо смываться? Нет, я не могу смыться без Севки. И Егорка, Батаня. Надо идти домой. Я ведь даже не знаю, арестованы они или нет. Кто? Только мама? Только папа? Оба? Что делать? Я подняла лицо от подола, и посмотрела вокруг. Может, я искала помощи, совета у деревьев, в темных окнах домов.

Вдруг от земли мне в глаза ударил какой-то блеск. Лучик. Я встала и пошла на него. На земле лежало маленькое золотое сердечко. Может, оно и не было золотым, просто золотого цвета. У меня никогда не было украшений, и у мамы тоже. Я ничего в этом не понимала. Наверно, его потеряла та веселая девушка. Или другая. Я решила, что, может, кто-нибудь за ним придет. Снова села на свою лавочку и сидела, положив сердечко на раскрытую, вытянутую ладонь. Хозяйка будет проходить и увидит. Я любовалась им. Оно было такое трогательное. Может, я задремала. Только неожиданно заметила, что небо стало светлей. И стало холодно. Второй рассвет в моей жизни. Тот тоже был в конце мая, год назад, когда мы ехали на рыбалку на Сенежское озеро. Но вдруг показалось, что это было в другом мире, в другом времени. В другую эру. Потом мы с Севой так и будем говорить: «Все, что

было раньше – до нашей эры». «Наша эра» началась летом 37-го. А сердечко так и лежало на моей ладони. Его хозяйка не пришла. Я зажала ладонь. Сердечко стало моим. Потом перешло к Тане. Все уходит! Проходит! Почему-то остаются вещи. Даже такие маленькие. Кажется, это называется «материальная культура». Я встала и пошла домой. Выйдя на Пушкинскую, я поняла, что еще очень рано. Людей не было. Дошла до нашей парадной. Толкнула дверь. Она оказалась запертой. Я не стала звонить. Подумала – вдруг папа вернулся? Зачем их будить? И потом – если я приду так рано, они поймут, что я не ночевала у Ани. Я перешла улицу и пошла по Леонтьевскому переулку. Как он теперь называется? Потом вышла на Герцена, свернула на бульвар и, медленно пройдя его, вышла к Пушкину. «Пушкин, тайную свободу…». Ах, как хорошо, что мы уже знали Блока. Что стихи живут в нас. Что они помогают. Я больше не чувствовала себя заразной. И ничего я не стеснялась. Было очень горько. И страшно. Но по-другому. Страшно не этих белоглазых и безглазых. Страшно узнать, что с мамой и папой. Но надо. И у меня еще есть Егорка. Я стала другой. И детство мое кончилось. В ночь с 27 на 28 мая 1937 года, на московском бульварном кольце, у памятника Пушкина…

Когда я во второй раз подошла к нашему дому, парадная была открыта… Наша дверь была замкнута. Я тихо постучала. Мне открыла Монаха. Она была одета, и голова повязана черным платком. Значит, собирается выйти. Так рано?

Монаха шепотом сказала: «Потише, кажется, мама спит». – «А папа?» Она покачала головой: «Не приходил твой папа. Не приходил. А я на дачу. Как эти ушли, так мама сказала, чтобы я с утра привезла Татьяну Матвеевну и Игоря». Она, как все няни, Егорку называла Игорем, да и многие другие стали его так называть в школе и в доме. Она вытащила два чемодана из-под тахты и, стоя посреди передней, вытирала с них пыль. «А когда ушли они?» – «Да уж часа два или побольше. Мама после них все бегала, бегала по комнате, взад-вперед, взад-вперед. А потом вышла ко мне и сказала, чтобы я пораньше на дачу ехала, а то, не дай Бог, к ним заявятся. А ты что так рано вернулась от тетушки? Не спалось? Да, уж тут не заснешь». Она не дождалась моего ответа, и мне не пришлось начинать день с вранья. Чувство, что я меченая, заразная и это стыдно, прошло…

Я заглянула к маме. Она все лежала лицом к стене и сказала одно только слово: «Уйди». Теперь я поняла, что она боится говорить со мной. Не знает, что сказать. Может, ищет какие-то объяснения – не для себя, для нас. Ох, какая же она глупая и как мне ее жалко. Себя, Егорку – всех жалко. Про папу даже думать невозможно, так жалко. Но маму жалко больше всех. Глупая. Глупая. Ведь ничего объяснять не надо. Что тут можно объяснить. У всех так. Ну, не у всех, так у многих. А у других будет завтра. Нет, она хочет понять и чтобы мы поняли, потому что она партийная. Ну и что ж, что партийная? Что же теперь делать, ведь не стать же ей беспар-

тийной? А объяснять ничего не надо. Я их ненавижу. Ух, как ненавижу. Кого? Белоглазого. Безглазого. Дальше мое воображение не шло. Даже к тем трем, что вчера были с Белоглазым и Безглазым, никакой ненависти я не испытывала. (стр. 275–283)

* * *

Вообще с ненавистью было сложно. Постепенно стал расширяться круг лиц. Но и только. Я возненавидела людей, что дают ответы об арестованных на Кузнецком мосту в доме 12. Тех, кто принимал передачи – 50 рублей – в окошке Лефортовской, Матросской тишины, Краснопресненской, Бутырок. В Ленинграде – в Крестах и в Большом доме. Следователя, который меня допрашивал. Комсорга, который выгонял меня из комсомола. Соседку, у которой пропала комбинация, и она на коммунальной кухне сказала, что я воровка, потому что «у них в семье все арестованные». С годами список рос, но это ничего не меняло. А, скажем, тех, кого газеты возносили, а потом кляли, будь то Ягода, Ежов и всех на бесчисленных портретах или, напротив, подсудимых на публикующихся процессах – нет. Я не испытывала к ним никаких чувств. Ненависти – тоже.

Я не испытывала ненависти к немцам. Правда, конкретных я увидела уже пленными. На какой-то станции рядом с нашим санпоездом стоял эшелон с пленными. Из верхне-

го окошечка выглянул тощий, как ленинградский блокадник, немец. Он просил: «Брод, брод» и знаками еще что-то. Я сбегала в служебку и передала ему свою пайку, кусочек мыла и пачку махорки. За это меня выгоняли из комсомола. Я не каялась, но девчонки решили меня простить. Они говорили, что я «вообще добрая» и из-за этого произошла такая «политическая ошибка». Но они уверены, что я исправлюсь. Но я думаю – меня не выгнали потому, что даже наш замполит Павлов понимал, что негде найти старшую медсестру, когда состав приближается к фронту и предстоит взять, может, шестьсот, а может, и до тысячи раненых. Да еще такую, про которую сам Мурин говорил, что она ТЧ (ТЧ на жаргоне Мурина – начальника нашего эвакоуправления – означало «толковый человек»). После собрания мы с Броньской Пруман, еврейской девчонкой из города Новоград Волынский, которую я подобрала на каком-то перегоне и уговорила начальника взять вольнонаемным писарем, смеялись. Она, как и тот немец, – результат моей вроде доброты. И если исправляться, то подбирать таких не надо. А у меня были еще подобранные. Ася Дейч – внучка того самого Дейча[59], который Аксельрод[60], Засулич[61] и все остальные. И Во-

---

[59] Дейч Лев Григорьевич (1855–1941), один из лидеров меньшевизма и один из основателей (совместно с Г.В. Плехановым, В.Н. Игнатовым, В.И. Засулич и П.Б. Аксельродом) марксистской организации «Освобождение труда» (в 1883 г.). – Сост.

[60] Аксельрод Павел Борисович (1849–1928), российский социал-демократ, идеолог меньшевистского движения, после Октябрьской революции – в эмигра-

вочка – маленький мальчик, которого потом разыскала мама, а я так огорчалась, что приходится отдать. И еще одна девушка с Украины. И какая доброта, если всем трем подобранным девчонкам доставалось от меня, как мало кому. Почему-то они, как на подбор, были нерасторопны, неумехи, несобранные – не солдаты, а черт-те что.

А вот Павлова я ненавидела. Мало того, что он портил девчонок, и потом их, плачущих, уже пузатеньких, надо было отправлять по домам. Мы собирали им на пеленки свои новые, про запас береженые, теплые портянки, доппайки и еще какой-нибудь нехитрый скарб. А он не выходил с ними даже попрощаться. Особенно мне было жаль невысокую, беленькую, певучую Верочку. Но более бездельничающего мужика я на своем веку не видела. Никогда, нигде. На поезде он появился почти одновременно со мной, после ранения в руку. Молодой бугай с партбилетом в кармане. А у нас вся медицина – нач. поезда, врач, две старшие медсестры и зав. аптекой – беспартийные. И все, кроме меня, старше его в два раза. Ни разу во время пожаров за багор не взялся! Ни разу в бомбежку не подтащил носилки! Ни разу в вагоне с теми,

---

ции. – Сост.

[61] Засулич Вера Ивановна (1849–1919), 5 февраля 1878 г. Засулич совершила покушение на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, тяжело его ранив (причина покушения – он приказал высечь политзаключенного, который не снял перед ним шапки при посещении Ф.Ф. Треповым тюрьмы). Однако 12 апреля 1878 г. суд присяжных, при поддержке председателя суда А.Ф. Кони, полностью оправдал Засулич. – Сост.

кого в лесу не укрыть – не перетащить – не остался! И даже сводку ему запишут с приемника. Он прочтет и отдаст. А по вагонам раненым кто-нибудь из солдат или девчонок прочтет. И все высматривает, вынюхивает. Кто, откуда, какая родня? Мне было лучше, чем другим. Я вызывающе всем докладывала: отец – изменник родины, 10 лет без права переписки. Мать – ЧСИР, 8 лет. Но и он меня ненавидел. Люто. Потому что девчонки и вся команда меня любили. И никогда, ни одного наградного листа на меня не подписал. «Пусть прежде от своих родителей откажется». И после войны отбыл в свой родной Ярославль. «Кому война, а кому мать родная». А теперь, может, в каком-нибудь совете ветеранов командует. Как же – герой Великой Отечественной. «Терпеть ненавижу».

Позже я возненавидела капитана из политотдела. Он все делал вид, что хорошо ко мне относится. «У тебя, комсорг, самодеятельность – высший сорт». «У тебя, лейтенант, в команде порядок». А однажды вызвал меня вроде как по делу и начал мне объяснять, что вообще-то его комсомольская работа не интересует, что теперь война переходит на вражескую территорию. Что люди многое увидят. Могут заинтересоваться. Надо про настроения и прочее ему докладывать. «Да и иностранцы могут тобой (это мной!) заинтересоваться. Они ведь тоже все знают про нас. А у тебя родители враги. Так они могут тебя завербовать. Или мы им поможем! А ты нам будешь помогать. И я думаю, под-

ходит время – хватит тебе с гноем да говном вокруг раненых крутиться. Да Пушкина с Блоком девкам читать. Мы тебя поближе возьмем. Ты человек грамотный и вообще…» Уже не была я тогда наивной дурехой с бреднями о мировой революции. И – понавидалась. Но вот как-то не ожидала, что со мной будут вести такую беседу… Бог мой, что я ему выдала. И литературным, и вторым русским языком. Как я его ненавидела в тот момент. Кажется, был бы при себе пистолет – пристрелила бы. Он стал «светлокожим», пока я высказывалась. Потом сказал: «Значит так. О нашем разговоре – ни слова. А что делать с тобой, я еще подумаю. Запомни, лейтенант, я подумаю». Я о разговоре рассказала одному человеку. И ждала. Почему-то мне повезло. Не арестовали. Ничего не случилось. Но очень жаль, что я не помню фамилии этого капитана. Тоже ведь – «фронтовой герой». У него на груди уже тогда несколько наград красовалось. А теперь, может, до самой ширинки.

В общем, ненависть моя всегда была какой-то неинтеллектуальной, эмоциональной и личностной. Но однажды я в ней поднялась выше. Весна 42-го. Морозы до конца мая. Наши поезда переполнены обмороженными. Ампутированные ступни и кисти. А запах от этих страдальцев (не знаю, как назвать, потому что наш производственный термин – ран. больные – не подходит) такой, что во время перевязок кружится голова, тошнит. Иногда стрелой летишь в тамбур, чтобы не вырвало прямо в операционной. И жалко их ужас-

но, потому что обморожения мучительней ранения. Сильней болит.

Елена Боннэр, санитар ВСП № 122, 1943 г.

Я ночью дежурила. На какой-то станции от военного коменданта за мной пришел солдат. В эшелоне эвакуированных женщина рожает. Ужас. Никогда родов не видела. И в учебнике не очень читала. РОККовские курсы! Акушерство для медсестер запаса! Говорят, надо знать, откуда дети родятся. Остальное ни к чему. Бикс, йод, перчатки, косынки. Все вроде как стерильно. Но что ж дальше? Я знаю только, что надо будет перевязать пуповину. Даже как она выглядит, знаю только по картинке. И то забыла.

Вскарабкалась в теплушку. Полутемно. Дымно. Много баб и детей. Холодно и душно одновременно. Запах – грязный, голодный, немытый. Филолог скажет, что это не эпитеты для запаха. Эпитеты! Женщина раскинулась на нижних нарах. В первый момент показалось – бесстыдно. Но прошло. Лицо увидела не сразу. В глубине под верхними нарами совсем темно. Потом уже разглядела мокрые темные волосы. Красное, мокрое лицо с темными разводами. Закричит, а как отпустит ее, она руками лицо обтирает, и с них черные угольные полосы на него переходят. Руки, лицо – все ужасно. До пояса она ватником прикрыта и на ступнях что-то набросано. А разведенные колени и низ живота открыты. И из промежности, какой-то неестественно надутой, что-то темное выдвигается. Только, когда младенец родился, я поняла, что это была головка. Наверно, всего

одна или две потуги были при мне. И это страшное, безрадостно красное, скользкое вывалилось-выползло на что-то серое, что было подстелено под женщину. И кулачки вверх… кричит… кричит. Я настолько непросвещена и неграмотна, что крика боюсь, а не радуюсь ему. Но сзади кто-то из баб радостно сказал: «Ох, хорошо кричит. Гро-о-мко!» Я разглядела пуповину. Руки уже в перчатках, взяла бинт и стала завязывать ее сантиметрах в десяти от ребеночка, чтобы не задавить. Кто-то сказал: «Ты ниже бери, ниже». Я подвинула на половину расстояния. Завязала. Чувствую: она пульсирует. Тут интуиция подсказала: надо туго, как жгут. А бинт не развязывается. Я взяла еще кусочек. Затянула по-настоящему. Взяла ножницы. Посмотрела вокруг. Все молчат. Вздохнула и отрезала. Она еще у меня – пуповина – как-то выскальзывала из ножниц. Но потом вроде как хрустнула. Похоже на тонкий куриный хрящик. И тут на меня и вокруг хлынула кровь. Я даже отпрянула. Но что надо завязать второй конец, идущий в женщину, не вспомнила. А кровь хлещет. «Как остановить такое кровотечение!» – судорожно бьется во мне вопрос. А кто-то из женщин, толпящихся по бокам, взял и подставил тазик.

Может, так надо! А рожавшая все спрашивает – «кто?», «кто?», «ну, кто там?» Я не понимаю вопроса. Наконец, кто-то сказал: «Да девонька, девонька». Тогда роженица у меня спрашивает: «Тебя как зовут?» – «Люся». – «Ну, хорошо. Людмилочка будет». Я посмотрела ей в лицо вто-

рой раз. Милое, красивое, а что грязное, так как-то даже прелестно. Какая-то женщина сказала: «Пусти-ко, я оботру невесту да заверну, а то она от холода окочурится. И завязывай конец-то, завязывай». Я быстро из бикса стала прямо руками доставать салфетки и ватные шарики. Тут стал рожаться послед. Хорошо, что родился быстро, потому что я думала, что это второй ребеночек. Ребенка мгновенно завернули и сунули к маме. И она заворковала таким тихим, интеллигентным голосом, что я поразилась: «Люсенька моя, Люсенька». Как мама, когда я болела. В это время солдат, который привел меня, отодвинул дверь:

«Сестричка, кончай, что ли. Твоему составу уже жезл понесли». Я повернулась на его окрик, потом опять к женщине с ребенком. И та, что заворачивала ребенка, сказала: «Осенюточки – это плохо, они почти и не живут. А твоя весенняя. Весенние – самые жизненные». А новая мама сказала: «Спасибо, спасибо тебе, Люся».

Я спрыгнула на жесткую мерзлую землю. Почти напротив был наш штабной вагон. Влезла, замкнула дверь. В тамбуре тепло. Наши девочки не экономили уголь, ворованный из проходящих товарняков.

Почти сразу поезд двинулся и пошел. Медленно, потом быстрей, стали проходить за окнами темные вагоны. «Спасибо тебе, Люся». Господи, как давно никто не называл меня Люсей. Выйдя из детства, я оставила там и детское имя. Теперь я Елена, Лена. И почему там, в теплушке у меня вы-

рвалось детское-домашнее «Люся»? Почему так болит то ли сердце, то ли душа, или что там у нас болит? Нет писем от Батани из Ленинграда. Нет писем от Егорки из Казахстана, куда его эвакуировали со школой. Писал не он, а Катя-хромоножка, дочь нашего учителя физкультуры, выехавшая вместе с младшеклассниками именно потому, что она хромоножка. Нет писем от мамы.

И есть только одно письмо. Но лучше бы его не было. Письмо от Мики Обуховского. Он пишет, что Севка… Севка погиб… Когда – не знает. Где – не знает. Ничего не знает, а пишет. Но этого не может быть.

Этого не может быть. Потому что не может быть. Севка не может быть убитым. Мика врет. Я всегда подозревала, что он влюблен в меня. Ухаживает за Нелькой или еще за кем-нибудь, а сам… И теперь врет. С Севкой это не может случиться. Уже неделю ношу письмо в кармане и, как заклинание, повторяю сотни, может, тысячи раз на дню, как молитву: нет, нет, нет. Колеса стучат не-т, не-т, не-т. Но вдруг во сне начинают выстукивать: не-ту, не-ту. Не-ту! Просыпаюсь – не-т, не-т, не-т. Я, наверно, с ума сойду.

А за стеклом уже проплыло темное, станционное здание, какие-то домики, тоже темные. Какое же все безрадостное. Я прошла в вагон. Штабная комната – три купе, в которых сняли перегородки и полки. Горит противно тусклая лампочка и освещает портрет. Усатый, губастый, рот

вроде как подкрашен. «Сволочь! Вот сволочь! Это все из-за тебя. Все. Все». Сказала я это или подумала? Голоса вроде не слышала. Но в первый момент испугалась, даже если это только мысль. Но она уже закрутилась и остановить я ее не могла. «Сволочь. Ненавижу». Почему в тот день и час мое неприятие вышло за круг конкретных людей и перенеслось на символ, на нечто общее? Так же эмоционально, как и раньше, без всяких раздумий, исторической подготовки, изучения материалов съездов, процессов, даже только чтения речей, чтобы хоть знать, кто что сказал. (стр. 283–288)

* * *

Приехали Батаня, Егорка и Монаха. Батаня внешне еще жестче, чем всегда, но собранная, деловая. Стало как-то спокойней. Но она тоже нервничала, и это проявлялось в том, что временами она беззвучно шевелила губами. Бросив свою соломенную шляпу прямо на стол в столовой, она сразу прошла в мамину комнату и закрыла за собой дверь. Подойти к двери при Егорке мне было неудобно. Но, может, сегодня я не решилась бы и без него. Егорка начал ныть: «А мне что делать?». Кажется, он не понимал, почему его привезли с дачи. Я достала со своей полки «Квентин Дорвард» и сунула ему. В своем раннем «педагогическом» рвении месяц назад я о ней ему сказала маминым голосом: «Рано тебе». Он схватил книжку и сразу отключился. Батаня у мамы пробыла, по-мо-

ему, целый час, в который я не находила себе места. Потом она с Монахой закрылась в кухне. Егорка, наверно, устал читать и исчез. Пошел по коридорам или к кому-то из дружков. А Батаня, выйдя от Монахи, послала меня в магазин. Она не как мама. Дает список и деньги. Все точно и ничего не забудешь. Я была рада, что есть хоть какое-то дело. Мне хотелось действовать. Не в магазине, конечно. Но я не знала, что делают в таких случаях. Молоко, масло, сыр, колбаса, хлеб. В магазине я почувствовала, что голодна. В булочной отломила кусок калача и сразу стала жевать. «Какая же я свинья – там мама лежит, уткнувшись в стену, папа неизвестно где. А я жую». Я положила покупки на кухонный стол. В столовой Батаня укладывала что-то в свою сумочку. «Покорми Егорку и поешь, если я задержусь, уложи его. И никуда не уходить. Поняла?» – «А где Монаха?» – «Не Монаха, а (Батаня назвала имя-отчество). Ее больше нет. Учись обходиться без домработниц». Пошевелила молча губами и сказала с оттенком восхищения: «Порядочный человек. Удивительно порядочный»… (стр. 288–289)

* * *

…Пронзительно вспомнилось майское утро, когда он, молодой, улыбающийся, в последний раз ушел из дома. Где, как он был арестован? Его секретарь рассказал, что папа был вызван в НКВД для служебного разговора. И все! Телефонный

звонок перечеркнул жизнь. Что было с ним за этой чертой?

БаТаня (Т.М. Боннэр) с внуками Люсей и Игорем, 1937 г.

Я закрыла глаза и как в детстве, когда говорила Егорушке про тени, бегущие по потолку и стенам темной детской, что это я показываю ему кино, стала самой себе показывать фильм про свою жизнь.

Детство. Благополучное. Нормальное. У папы и мамы – работа, друзья, партия, любовь и мы – дети. Я не знаю в каком порядке написать это. Может – вначале любовь? Или – мы? Или – партия? Счастливая семья. Счастливое детство. (Как-то боком промелькнуло – здорово же мне достанется от критики – и правой и левой – за это счастливое детство, если рукопись когда-нибудь станет книгой. Припомнят все

вплоть до плаката в вестибюле школы – «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Маму с ее методами воспитания. Папу, занимавшегося кадрами в Коминтерне и читавшего Блока и запретного Гумилева. И даже бабушку в белой шляпе и чесучевом пальто.)

Сева Багрицкий, 1938 г.

Май 1937-го. Слова – арест, тюрьма, передача, лагерь, ссылка – стали частью моей жизни.

Нас переселили. На том же этаже в одну довольно просторную комнату. А на нашей двери появилась красно-кирпичного цвета печать. Потом я с мальчиками выкрала оттуда

батанин сундук и книги. Потом Батаня с Егоркой (и с сундуком) уехали в Ленинград. Я послала Севке письмо, и он прилетел из Ессентуков. А в конце августа к началу учебного года мама отправила в Ленинград меня. Она ждала ареста и каждый день на свободе становился для нее все более непереносимым. 29 октября в Ленинграде арестовали маминого брата Матвея. Обыск был долгим, и когда его уводили, за окном уже брезжил серый ленинградский рассвет. И падал крупный тяжелый снег. Я встала на подоконник и высунувшись в форточку увидела, как Матвей оглянулся на наши окна. На его лице бродила какая-то растерянная улыбка. Может он сдерживал слезы? В этот день Батаня отправила меня в Москву с поручением снять маме комнату где-нибудь в окрестностях и с мальчиками перевезти ее туда. Мы сняли комнату в Малоярославце. Перевезли постель, какую-то посуду и огромную чертежную доску. А вечером мама сказала, что поедет со мной в Ленинград. Были ноябрьские праздники. Пробыла она с нами три дня и уехала, обещав Батане, что не вернется в «Люкс», а будет жить в Малоярославце.

Люся Боннэр, 1937 г.

Спустя какое-то время позвонила Аня (*младшая сестра Р.Г. Боннэр – Ред.*) и сказала, что мама никуда не уехала, безвыходно сидит в «Люксе» и ждет ареста. Батаня снова отправила меня в Москву. Были первые числа декабря. Мама жила уже не на нашем этаже, а в нэпманском, в маленькой, как купе поезда, комната вдвоем с мамой Люси Черниной. В ночь, когда я приехала, арестовали маму Люси. Буднично, просто – пришли и увели. Днем я ушла к Севке, а когда вернулась, мамы не было. Она пришла через час или два после

меня. Сказала, что очень замерзла – бродила по улице с другом папы Суриком-Суреном. Я его хорошо знала, но фамилию сейчас не помню. И вынула из кармана плитку шоколада, большую, толстую. Я вскипятила чайник и стала снова уговаривать ее ехать в Малоярославец. Собственно, я ведь и приехала за этим – так велела Батаня. Мама молчала. И я знала, что она никуда не уедет. Что она ждет не дождется ареста, как будто это выход из того небытия, в котором она находится после ареста папы. Мы пили чай, но почему-то не трогали шоколад. Наверно мама забыла, а я не решалась. Потом я пошла в уборную и мыться. В самый конец коридора. А когда возвращалась, увидела, что у двери стоят двое военных. Я вошла в комнату вместе с ними. Мама как-то звонко сказала: «Ну все». Она была все в той же лиловой папиной рубашке, быстро натянула поверх нее свитер и из-под кровати вытянула давно заготовленный чемодан. И, накидывая на плечи свое черное кожаное торгсиновское пальто, повернулась ко мне. Я поразилась, какое светлое было у нее лицо. Она обняла меня и несколько раз поцеловала, еле слышно шепча: «У меня только ты, только дочь, сына нет. Егорку никогда не упоминай, заберут». И улыбаясь, чуть оттолкнула от себя. И сама вышла в дверь. Один военный сразу вышел за ней. А второй обвел глазами комнату, сказал: «А завтра мы заберем твоего братика». И вышел, не закрыв дверь. В коридоре было тихо. Я закрыла дверь и увидела плитку шоколада на столике. Положила ее в карман. Взяла малюсень-

кий чемоданчик, с которым приехала из Ленинграда. И на цыпочках пройдя коридор, спустилась по черной лестнице во двор. Больше в «Люксе» я не была никогда. Из автомата позвонила Севке. Идти к нему побоялась. Мы встретились у метро и поехали на Ленинградский вокзал. Был час ночи. А в два отходил почтовый поезд на Ленинград. Билет в бесплацкартном вагоне стоил шестьдесят рублей с копейками. Мы целовались на перроне. Потом я залезла на третью (багажную) полку и стала плакать, заедая свои соленые слезы квадратиками шоколада. А мама спустя десятилетия будет рассказывать, что эта плитка шоколада снилась ей в тюрьме… Было 10 декабря 1937 года. Через два дня должны были быть выборы – первые выборы по новой сталинской Конституции… (стр. 292–294).

* * *

*В декабре 37-го года меня три раза с перерывом в три-четыре дня возили на допрос в Ленинградский Большой Дом. Ночью, уже после «Интернационала» по радио – мне Батаня разрешала с наушниками до полуночи, уже в кровати слушать музыку, а сама она обычно до двенадцати читала, тоже в кровати – раздался звонок в дверь. Батаня и я сразу стали натягивать халаты. Вскочила и Каля (*жена дяди Матвея, арестованного в октябре – Ред.*) в соседней комнате. Мы тогда ежедневно ожидали, что за ней придут – ведь*

она была не арестованная жена арестованного. Проснулась и заплакала Наташка. Я пошла к ней, а Каля и Батаня – к двери. Туда же подошла я с Наташкой на руках. Вошел один человек – военный. Он посмотрел на Батаню, Калю, меня и сказал мне: «Поедем» или «пойдем» – я не помню. Никаких бумаг он не предъявлял, а мы не спрашивали и стояли молча, оглушенные, ошарашенные. Тогда он сказал: «Одевайся быстро».

Я отдала Кале Наташку, и она, прижимая ее к себе, вроде как двинулась в их комнату, а я на каких-то чужих, ватных ногах пошла в нашу. Батаня за мной. Военный остался в передней. Егорка спал. Я молча одевалась и не могла попасть ногами в чулки, а Батаня что-то беззвучно шептала и быстро откуда-то доставала и клала на стол новые теплые носки, новые варежки, свой оренбургский платок, новые чулки, рубашку, трусы, трико. Я оделась и, когда совала ноги в валенки, Батаня тихо, но почти обычным своим голосом сказала: «Надень рейтузы. И галоши на валенки». Потом я взяла с вешалки пальто и свою вязаную с помпоном шапочку, но Батаня молча отобрала ее у меня. «Надень мой платок». Я стала неумело его складывать пополам. Платок я надевала впервые. Батаня взяла его у меня, сложила углом и протянула мне. Я как-то его накрутила. Натянула пальто. Батаня достала из шкафа свой маленький саквояж, содержимое его вытряхнула и засунула в него собранное для меня. Потом она протянула мне деньги – пять тридцатируб-

левых бумажек. Я хотела сунуть их в саквояж, но она сказала: «Положи в лифчик». Потом она сказала: «Ну» и села. Я тоже. Потом она встала. Я механически встала вслед за ней. Она прижала меня к себе. Я вся тряслась с самого начала и никак не могла перестать. Мне казалось, что и она трясется. А может это так отдавалась в ней моя дрожь. Она слегка оттолкнула меня. Мы поцеловались или, верней, я прижалась к ее щеке. Она сказала: «Смотри…» – и не кончила фразу. Я посмотрела в сторону Егоркиной кровати. Мне было больно смотреть на него. Он так и не проснулся. Мы вышли в переднюю. Каля тоже, с Наташкой на руках. Я еще раз оглянулась на Батаню, но она не шевелилась, только строго смотрела на меня. Военный стоял в коридоре. Я вышла к лестнице. Он пошел за мной.

У подъезда стояла легковая машина, в которую мы сели – оба сзади. Все было молча. Молча мы приехали на Литейный и остановились у подъезда, что сбоку, не на самом проспекте. Молча шли по вестибюлю, по лестнице, по коридору. Он шел сзади, чуть подталкивая меня вперед, налево, направо. Я ничего не замечала, кроме резкого света везде; может, он казался таким после темной улицы и от страха, ужаса, гнездящегося где-то в груди, в животе, везде. Военный открыл какую-то дверь, и мы вошли в небольшую комнату. Там сбоку стояли шкафы и, кажется, стулья у одной стены, а у другой – обычный письменный стол, боком прижатый к ней. За столом был человек, обыкновенный, не во-

енный. Тот, который меня привел, подтолкнул меня к столу и ушел. Я стояла. Человек за столом стал очень спокойно говорить. Слов я не помню, сразу не помнила. Но что-то, что вот я сейчас ему быстренько все расскажу, потому что уже ночь и мне надо спать. Он спокойно все время повторял «быстренько» и стал спрашивать, кто к нам приезжал в Москве, в «Люксе», кто редко, а кто часто, с кем папа играл в шахматы, а с кем в биллиард.

Я молчала. Он стал называть какие-то коминтерновские фамилии, вроде как подсказывая или напоминая мне, я запомнила только две – Эрколе и Черномордика, потому что другие были, наверное, не столь знакомы. Потом как-то настойчиво и по многу раз стал называть фамилии, которые я знала всегда, всю жизнь, твердо, как свою: Степу Коршунова, Бронича, Восканяна, Мандаляна, Шуру Брейтмана и Алешу Столярова. Имен он не называл – только фамилии и, называя, смотрел в бумагу у себя на столе – как будто читал. Я молчала. Он снова все повторял свои вопросы и как-то постепенно стал называть только Алешу и Шуру. Он спрашивал, когда они были у нас вместе. Называл какую-то дату – праздничную, вроде ноября или мая. Я молчала. Вдруг он вскочил из-за стола и, стоя у противоположной стены (стоящий он был маленький – ниже меня), начал кричать…

Я переложила саквояж из одной руки в другую, потом стала держать его обеими руками перед собой. Я перестала дрожать. Мне было нестерпимо жарко. Меня все дави-

ло: валенки, пальто, платок, который лежал под ним горбом. Я почувствовала, что по шее и между грудей у меня течет пот и деньги неприятно колют кожу. И тут я сказала: «Я не знаю ничего, я маленькая». Тогда он приблизился ко мне и, размахивая перед моим лицом своим листом, заорал: «Маленькая, маленькая, вымахала верста, идиотка, идиотка, идиотка». Эту «идиотку» он еще несколько раз повторил уже спокойней, садясь на свой стул. Потом он рылся в каких-то бумагах, не глядя на меня, довольно долго. Потом сказал: «Вот молчишь, а если бы мы быстренько поговорили, то твоим мамочке и папочке было бы лучше».

Пока он молча сидел за столом, я не испытывала к нему никаких чувств, даже злости. Я устала стоять, и саквояж оттягивал руки, хоть и был нетяжелый. Но когда он сказал «мамочка» и «папочка», я прямо вся взорвалась внутри и готова была броситься на него – бить саквояжем, царапать, кусать зубами. Но тут вошел тот прежний военный и сказал «идем». Мы шли по тому же коридору. Я думала «куда», а еще больше «скорей бы». Мне вдруг ужасно захотелось спать. Мы спустились по лестнице и прошли через какой-то небольшой вестибюль. Кажется, не тот, через который вошли. К двери. Военный сказал: «Иди». Я толкнула дверь и оказалась на улице. И растерялась. Я ждала чего-то другого. Что я останусь там, у них!

Я сразу перешла на другой угол. Посмотрела на дверь, из которой вышла. Вокруг. Город был чужой, темный, прон-

зительно ветреный, такой, что мокрые волосы на шее под платком и белье сразу стали ледяными. Какой дорогой идти? Их было три: по Литейному и Невскому, по Шпалерной, по Неве. Я выбрала Неву. Через Литейный я почему-то переходила тихо, почти на цыпочках. Он был совершенно пуст – такой длинный, пустой, страшный коридор. Шагом и озираясь, как вор, я дошла до набережной, а когда повернула, то меня охватил еще более сильный, прямо сшибающий с ног ветер. Я сделала несколько шагов озираясь. И побежала. Сначала все еще боясь, но потом страх ушел, и я бежала, бежала. Было скользко, и раза два я упала. Потом опять бежала уже по мостовой. На Марсовом я свернула на Халтурина и там только пошла шагом. Город был пустой – ни милиционеров, ни дворников, ни простых людей – и беззвучный: только мои шаги да ветер. Потом я услышала негромкий шум машины где-то сзади. Ее огни показались в конце улицы. Мне опять стало страшно. Я снова побежала. За мостиком у Лизиной канавки (как она официально называется?) я оглянулась. Машина остановилась посередине улицы. Может, у дома, где когда-то жили Оцупы, куда меня водили в нелюбимую группу? Может, к ним?

Батаня, как будто ждала, открыла мне дверь почти сразу, как я нажала кнопку звонка. Она была с виду спокойна, хотя я поняла, что она не надеялась, что я вернусь. Каля тоже встала на мой звонок. Я все рассказала им, хотя рассказывать было нечего. Спать мне не хотелось. Вообще,

похоже, я была возбуждена и радовалась чему-то. Чему? Батаня обычным своим голосом сказала: «В школу сегодня (уже было сегодня) не пойдешь. Ложись спать».

Когда я пришла, Батаня сразу посмотрела на часы. Было начало четвертого. Значит, все это продолжалось только три часа. Мне показалось – прошла вечность.

Через два или три дня в то же время тот же военный пришел снова. Опять мы с Батаней волновались, но меньше. А Егорка, который проснулся и встал, дрожал, молчал и в передней при военном прижался ко мне. Я собралась еще быстрей, ведь саквояж так и стоял собранным. Все было похоже, только фамилии тот называл всего две – Столярова и Брейтмана. Я молчала. Он без конца повторял свое «быстренько», о папе и маме не упоминал. Подолгу молчал и что-то писал, а я все стояла со своим саквояжем.

Домой я возвращалась другим путем. Я бежала по Литейному и потом шла по Невскому. Было светло. Шел снег. Около многих домов дворники сгребали его. На меня внимательно смотрели. Я смутно догадывалась, что они думают обо мне плохое. Не то плохое, что на самом деле есть, а другое. Было неприятно. Но страшно не было. Когда я вошла в свой «парадный» подъезд, я подумала, что хорошо, что у нас больше нет швейцара, а то он тоже думал бы про меня плохое. Что будь он в то время, то видел бы и военного, который за мной приезжал, и все понял бы – до этого я тогда не додумалась.

10-й класс, Ленинград, 1939 г.

Еще через несколько дней военный приехал снова. Тот, который допрашивал, был какой-то взъерошенный, открывал и закрывал ящики своего стола, что-то искал в своих шкафах. Он задавал мне вопросы, не глядя на меня и совсем не ожидая, что я заговорю. Потом почему-то спросил, что я все хожу со своим баулом. Слово «баул» показалось мне обидным. Я сказала, что это не баул, а саквояж. Он несколько раз повторил «саквояж», разделяя слово на два «саквояж». Потом снова стал кричать:

«Идиотка, молчальница, идиотка». Потом спокойно: «Значит, так – ни Брейтмана, ни Столярова мы не знаем».

Он почему-то сказал «мы». «Хорошо, так и запишем, что ты их не знаешь – Брейтмана и Столярова», и вдруг нехорошо выругался. Я тогда слов этих не различала, не знала, но что произнесенные им и есть они – эти самые, поняла. И почувствовала, что краснею. А он, увидев, что я краснею, засмеялся как-то плохо и, вроде как передразнивая, сказал: «Маленькая, маленькая. Идиотка ты большая и все понимаешь. Бляди вы все». «Сам ты блядь», – подумала про себя я. На самом деле – это был первый раз, когда я нехорошо выругалась, а что это было не вслух, а про себя – значения не имело. Я выругалась!

Пионервожатая, Ленинград, 1940 г.

Домой я опять бежала по Неве, так было быстрей. И пу-

стынная набережная была лучше, чем Невский с дворниками и их липучими взглядами.

За три дня до Нового года, поздно вечером, пришел военный, уже другой, и принес Кале повестку, что она должна в 72 часа выехать из Ленинграда в Катта-Курган. Я стояла рядом с ней, когда она расписывалась в ее получении, а он отбирал у нее паспорт. Этот военный на меня даже не взглянул. А утром приехал из Москвы Севка – начинались школьные каникулы. Мы вместе стояли в очереди Кале за билетом, помогали ей складывать вещи. Покупали елку. Украшали ее. Егорка ходил за Севкой по пятам, и Наташка тоже тянулась к нему. Вечером 31-го мы проводили Калю. Потом я накрывала на стол и укладывала Наташку спать. Потом встречали Новый год. Из Москвы приехал Мика Обуховский, пришли девочки. Мы танцевали. Был праздник. Ночь с 37-го на 38-й год. Было самое страшное время – наше и всей страны.

А второго мы с Севкой поехали в Москву делать передачи – по 50 рублей, больше ничего. Я на «А» и «Б» – папе и маме, а он только на «Б» – маме… (Стр. 192–196).

* * *

Очередь в Бутырскую тюрьму – передача маме. Очередь в Лефортово, потом на Лубянку (меня подводит память, и я не помню, какая из двух этих тюрем была первой) – переда-

ча папе. Сунуть в окошечко 50 рублей (теперь это копейки), дрожа от страха, что не примут – нет паспорта – он будет только в 16 лет, а еще больше – от страха, что их там уже нет. И каждый день по пути из школы пронзительный миг надежды, что мама дома. Так страстно, как в это время, я любила маму только в последние месяцы ее жизни. В марте 1938 года передачу папе не взяли и нитка связи с ним – эти 50 рублей, которую я почти физически ощущала ладошкой, оборвалась навсегда.

Через полтора года от мамы пришло первое письмо. Обратный адрес – АЛЖИР. Это не география, а аббревиатура – Акмолинский лагерь жен изменников родины. Мамины письма…

В одно из маминых писем была вложена записка Микояну, в которой она просила его спасти папу или хотя бы что-нибудь узнать о нем. Там были слова о том, что папа всегда был верным партии и еще что-то, что я не помню. И мама просила Батаню передать эту записку Микояну (она писала только имя – Анастасу) лично. В Москву поехала я – к ним на дачу в Серебряный бор. Вначале я разговаривала с Ашхен – его женой, она была очень добра со мной, может даже чересчур. Потом приехал Анастас, и мы говорили с ним наедине. Он сказал, что ничего не может сделать, даже ничего не может узнать. И я должна ему поверить. А потом сказал, что он бы хотел (они с Ашхен) взять нас с Егоркой жить к себе, вроде как усыновить. Меня это обидело и разозлило

почти так же, как предложение комсорга на комсомольском собрании отказаться от родителей, раз они изменники родины. Ответила я ему очень резко, почти хамски. После этой встречи я не видела его до весны 1954 года, когда он правительственной телеграммой вызвал меня из Ленинграда, чтобы в свою очередь узнать что-либо о судьбе папы и мамы.

Вскоре маме разрешили посылки – раз в три месяца 10 килограмм. Мы посылали не только ей, но и ее подругам, адреса которых она сообщала. Полькам-коминтерновкам, Лизе Драбкиной, Оле Дмитренко, сыну которой спустя двадцать лет я рассказала, что она его мать. Однажды мама прислала адрес мужчины по фамилии Волков. А до этого мне казалось, что в лагерях только женщины. Всем посылалось недорогое – сало, махорка, толстое мужское белье, сахар, печенье, похожее на галеты (только этого слова тогда не было). За покупками ходила я. Когда приходил срок посылки для мамы, Батаня отмыкала сундук (не думаю, что он замыкался от нас, просто у нее были «правила»), и, что-то достав оттуда, шла в комиссионный магазин. А возвратившись, вынимала из своего саквояжа (того, с которым провожала меня на допросы) охотничьи колбаски, синие баночки икры, корейку, тонкое шерстяное (егерское) белье, дорогие папиросы, шоколад. Упаковывать посылки и заколачивать ящики была моя обязанность. Когда я складывала посылки маме, у меня во рту собиралась слюна; мы в те годы забыли вкус любых деликатесов и лакомств. Иногда я совала в карман одну

охотничью колбаску, согнув ее пополам, а потом, не попробовав, скармливала Егорке…

Обратный адрес на посылке писался наш, имя отправителя мое, а фамилия соответствовала фамилии получателя. Так мы обходили закон, разрешающий заключенным получать посылки только от родственников. Почему лагерное начальство пропускало наши посылки, ведь обман был таким явным? Принимали посылки за сто первым километром – было и такое правило. Больше трех нам с Егоркой было не дотащить – я две, а он одну. Ехали на трамвае, потом на поезде до станции Толмачево. Сто пять километров от Ленинграда и почта рядом со станцией. Когда сдашь посылки и потрясешь затекшими руками, можно полежать под соснами у железнодорожного полотна или побродить по лесочку. Это летом. Но зимой, пока отделаешься, начинает смеркаться. И холодно. Стоишь на станционной платформе, топаешь замерзшими ногами. И мечтаешь – скорей бы поезд, чтобы немного отогреться в нетопленом, но надышанном пригородном вагоне.

Кончила школу. Поступала на факультет журналистики. Не пропустила мандатная комиссия: родители – изменники родины. Не обиделась. Пошла на факультет русского языка и литературы в Герценовский (педагогический) институт. Выбирала, где есть вечерний факультет – надо было работать. Потом война, пехота, ранение. После госпиталя отправили на санпоезд: раненые – бомбежки, бомбежки – ране-

ные. И ночи напролет одно желание – выспаться бы! Но это не страшно. Страшное было впереди – гибель Севки. 26 февраля 1942 года. Деревня Мясной бор, около Любани. «Любань, Любань – любовь моя…» Как я тогда не сломалась? Да и не сломалась ли? Ведь потеряла вместе с ним от Бога или от любви данную мне береженность. И свое розовое, легкое какое-то мироощущение. Вернулось оно ко мне только с рождением дочки. С ним писалась эта книга. А когда умер Андрей, оно вновь ушло, теперь, наверное, уже безвозвратно.

Летом 1988 года мы с Андреем на машине ехали в Ленинград. На перегоне от малой Вишеры до Любани справа от шоссе братские могилы. Много. Бессчетно. Остановились. Бродили между памятниками. Читали надписи. Солдаты и офицеры 2-ой ударной армии – Севиной. Я незаметно углубилась в лес, машинально стала собирать землянику в букетик для Андрея. Как когда-то собирала Севе и его маме. Все перепуталось – Андрюша, Сева. Нагибаюсь за ягодой, а на руку падает слеза. Вернулась. Протягиваю ягоды Андрею, а он мне цветы – лютики и еще какие-то голубенькие. И я вижу, что глаза у него тоже влажные.

30 мая 1942 года умерла бабушка в блокадном Ленинграде. Впервые в жизни пришло чувство вины. Непреходящее. Не была с ней! Казалось – защищать родину (это слово полагалось писать с большой буквы) – мой единственный долг. И сколько еще должно пройти лет, чтобы понять, что долги у нас другие. У каждого – свой! Ох, эти блокадные ленин-

градские почтовые открытки от бабушки – они сохранились: «пиши маме», «заботься об Игоре», «если я сохраню Наташку, мне надо поставить памятник». Наташку она сохранила – Батанина младшая внучка уже сама бабушка.

Мамина сестра придумала – маме о смерти бабушки не писать, и я вообще перестала писать маме. Но посылки, как и до войны, посылала ей и другим моим подопечным. Все армейские годы из трех положенных на день армейских сухарей (когда размочишь – душистые!) два откладывала на посылки. И еще сахар и махорку. Я может потому в армии и курить не начала, что, казалось, именно махорка поможет маме выжить.

Среди однокурсников по Мединституту, Ленинград,

1952 г.

Егорка. К началу войны ему было тринадцать. Его эвакуировали из Ленинграда со школьным интернатом. Оттуда забрали на «трудовой фронт». Я нашла его в Омске на большом заводе – слесарь самого последнего разряда. Маленький, сморщенный старичок, дистрофик, чудом выживший в какой-то больнице, где валялся с дизентерией. Директор завода не хотел мне его отдавать – «мобилизован в трудовые резервы». Я употребила все слова, которые к тому времени знала и даже хваталась за пистолет. А когда договорилась с директором, выяснилось, что Егорке не в чем ехать. Дырявая черная рубаха ремесленника, надетая на голое тело, – все, что у него есть, и он ночует на заводе, потому что по дороге в общежитие можно замерзнуть до смерти – некоторые ребята замерзали! Я сказала, что найду что-нибудь у офицеров в военной комендатуре (это они мне его разыскали) и вернусь. А он вцепился в меня как маленький и почти плачет: «Люська, не оставляй меня здесь». Господи, не верит, что вернусь! Я стянула с себя все до лифчика. Напялила на него две армейских рубахи и гимнастерку, на голову ему накрутила его рубаху, накинула себе на голое тело шинель и по сорокаградусному морозу пешком, а потом на трамвае мы добрались до вокзала, где дожидались моего санпоезда. Так он стал вольнонаемным санитаром военно-санитарного поезда 122 (сокращенно ВСП). Я стала панически бояться бомбежек – я в

одном конце поезда, а он в другом. Меня постоянно не покидал страх за него. А его очень любили раненые, особенно тяжелые, контуженные и так называемые черепно-мозговые. присутствие мальчишки действовало на них как-то успокаивающе.

С дочкой Таней, Ленинград, 1953 г.

Через год он поступил в Мореходное училище в Архангельске. Еще через год его отдали под трибунал – в плавании

он и еще два парнишки украли из улова несколько рыбин, зажарили и съели – они были голодные. Счастье, что меня отпустил начальник, и я добралась до Архангельска раньше, чем их засудили, и с помощью замполита училища (и среди них бывали хорошие люди) добилась, что Егорку и его дружков не судили, а отправили рядовыми на флот.

В августе 1945-го я поехала к маме на свидание – впервые за семь лет. В купе со мной ехали три офицера, один из них оказался прокурором маминого лагеря. Он дал мне двухнедельное свидание – небывалое дело! Похоже, ему было стыдно – он, мужик, четыре года наблюдал в казахстанском женском лагере за исполнением закона, а я, девчонка, – в действующей армии.

С детьми Таней и Алешей, Одесса, 1957 г.

Мама после тифа была коротко стриженной, в кудряшках, показалась мне очень хорошенькой, веселой. К радости свидания примешивалась некая отчужденность. Позже я узнала, что это у меня не только с мамой, а со всеми, к кому я ездила на свидание, – необъяснимая внутренняя напряженность, которую маскируешь оживленностью. А здесь еще прибавилось, что мне, по настоянию маминой сестры, надо было врать о Батане, будто она ослепла и живет у нее. И я (о смерти сообщать трудно) послушалась. Хорошо, что вокруг были мамины солагерницы и солагерники – лагерь был смешанный и общение внутри зоны свободное. Там я встретилась с Волковым. Он был не политический, но помогал многим из маминого барака и за это попал в ее список.

Руфь Григорьевна Боннэр (1900–1987) с правнучкой Сашей, Ньютон, Массачусетс, США, лето 1984 г.

В декабре 1945-го у мамы кончался ее восьмилетний срок. Я не помню почему, но она должна была вернуться из лагеря в феврале. Я ждала ее. У меня был начищен паркет, и я решила не убирать до ее приезда елку с Нового Года. А когда раздался звонок и я открыла дверь, мне показалось, что стоит нищенка, и я протянула ей какую-то мелочь и ломтик хлеба. Эта ошибка до сих пор гнетет меня.

Мама после лагеря не имела права жить в Ленинграде. Ее с помощью моих друзей, молодых поэтов, удалось устроить на

работу кастеляншей в пионерлагерь Союза писателей в Луге. Летом она жила там, а зимой – тайно у меня. В то время у меня жили несколько подруг, потому что у всех, вернувшихся из эвакуации, были сложности с жилплощадью – то занята, то разрушена. Маму встретили тепло. Но она была замкнутая, закрытая… Иногда появлялся Игорь. Он служил на Балтике и у него бывали увольнительные…

В эти же годы я бесконечно моталась по госпиталям. Все ахали на мои глаза, рекомендовали заранее изучать азбуку слепых. Мне надоело. Так же, как надоело периодически сдавать сессии в герценовском институте. Я не очень училась. Не очень собиралась учительствовать. Я решила поступать в Медицинский. Это пришло в армии – любовь, даже страсть – быть медсестрой. И я твердо знаю, что по характеру я (во всяком случае в молодости) была типичная «сестричка». Но не поступать же в медтехникум, когда у меня половина высшего образования, хоть и филологического? Мама встала на дыбы: «Ты больная. Ослепнешь!» Я злилась и готовилась к экзаменам. Сдала вполне успешно, но не пропустила медкомиссия. Опять глаза! Я устроила грандиозный скандал уполномоченному по приему в ВУЗы Ленинграда – была такая должность. И стала студенткой Первого Ленинградского Медицинского института.

На третьем курсе я решила рожать. Врачи были против. Мама заодно с ними… Родилась Таня… Главным в жизни мамы стали внуки. Поразительно, сколько тепла и какого-то

внутреннего свечения сохранила она для них. И от внуков осталось еще и правнукам! Маленькие дети говорят: «Моя мама самая хорошая». Перефразируя, мне всегда хотелось сказать: «Моя мама – самая хорошая бабушка».

К Андрею мама первое время относилась сдержанно. Но возможно, это сказывалась ее тогдашняя манера держаться внешне холодней, чем было на самом деле, и некая «светскость», которые в самые последние годы почти сошли на нет. Но чем сложней, а потом и страшней становилась наша жизнь, тем ближе становилась мама.

Наша ссылка в Горький. Как потрясающе она смогла отмобилизовать душевные и физические силы, чтобы ездить к нам, общаться чуть ли не со всей мировой прессой, поехать к внукам. Семь лет жизни в США, поездки в Европу, невероятная тревога за нас. Ее письма бывали горькими, она жаловалась на одиночество. Вместе с сильным беспокойством за будущее внуков в них просвечивало, что она чувствует себя ненужной в их жизни. Мне это казалось несправедливым по отношению к Тане и Алеше. И, хоть она прямо не просила взять ее в Горький, но это как-то вытекало из контекста писем. Однако взять ее в ссылку я не решалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.